

Основан в 1955 году

Жара и пыль

Рут Проуэр Джабвала

Аннотация

Рут Правер Джабвала. Жара и пыль. Роман

Аннотация

Номер открывается романом «Жара и пыль» англо-американской писательницы и киносценариста Рут Прайвер Джабвала (1927–2013). Действие происходит в Индии, причем попеременно — то совсем недавно, то в 1923 году. Героиня и рассказчица, наша современница, переселившись в Индию, обретается как бы в двух измерениях: живет собственной нынешней жизнью и, вместе с тем, — молодостью первой жены своего деда, ушедшей от него к обедневшему индийскому принцу. И главные, и второстепенные герои-англичане испытывают на себе загадочные чары Индии.

Рут Правер Джабвала
Жара и пыль
Роман



Вскоре после того, как Оливия убежала с принцем Навабом[1], Бет Кроуфорд вернулась из Симлы. Это было в сентябре 1923-го. Бет нужно было ехать в Бомбей, встретить пароход, на кото-

---

[1] Примечания: 1

Набо́б или наваб *(англ.* nabob) — титул правителей некоторых провинций Восточной Индии в империи Великих Моголов. После падения империи титул набоба сохранили правители, которые подчинились британскому владычеству в качестве вассалов. *(Здесь и далее — прим. ред.)*

ром прибывала ее сестра Тесси, чтобы провести холодный сезон с Кроуфордами. Они задумали для нее разные встречи и поездки, но большую часть времени она проводила в Сатипуре, потому что там был Дуглас. Они вместе ездили верхом, играли в крокет и теннис, и Тесси изо всех сил старалась составить ему хорошую компанию. Не то чтобы у него было много свободного времени — он был очень занят в округе. На работе, подобно троянскому воину, он держался спокойно и сдержанно, поэтому его очень высоко ценили коллеги и индусы. Он был честным и справедливым. Тесси гостила и в этот холодный сезон, и в следующий, а затем отправилась на пароходе домой. Через год Дугласу полагался отпуск, и они снова встретились в Англии. К тому времени он оформил развод, и они стали готовиться к свадьбе. Тесси уехала к нему в Индию и, как и ее сестра Бет, вела там полноценную и счастливую жизнь. Через много лет она стала моей бабушкой, но к тому времени они все уже вернулись в Англию.

Дугласа я совсем не помню, он умер, когда мне было три года, но очень хорошо помню бабушку Тесси и тетушку Бет. Они были жизнерадостными женщинами с разумными и современными

взглядами на жизнь, но, тем не менее, по словам моих родителей, многие годы их невозможно было заставить говорить об Оливии. Они избегали воспоминаний о ней, словно в них было нечто темное и ужасное. Поколение моих родителей не разделяло этих чувств, напротив, им очень хотелось узнать все, что можно, о первой жене деда, которая сбежала от мужа с индийским принцем. Только в старости, овдовев, эти дамы начали, наконец, говорить на запретную тему.

К тому же тогда они снова встретились с Гарри. До этого они лишь обменивались рождественскими открытками, и только после смерти Дугласа Гарри пришел навестить старушек. Он рассказал им об Оливии и ее сестре, Марсии, с которой познакомился вскоре после возвращения из Индии. Он продолжал видеться с Марсией до самой ее смерти (по его словам, она спилась). Она отдала ему все письма Оливии, и он показал их старым дамам. Так эти письма впервые попали ко мне, а сейчас я привезла их с собой в Индию.

К счастью, в первые месяцы своего пребывания здесь я вела дневник, поэтому у меня сохранились кое-какие записи о ранних впечатлениях. Попытайся я их сейчас восстановить, наверное, ничего бы не вышло. Они уже не те, да и я сама

уже не та. Индия всегда меняет людей, и я не исключение. Но эта история, насколько я могу судить, не обо мне, а об Оливии.

Вот мои первые записи в дневнике.

2 февраля. Сегодня прибыли в Бомбей. Совсем не то, что я себе представляла. Я-то, конечно, всегда о пароходе думала, забыла, что будет совсем по-другому, если сюда лететь. Все мемуары и письма, что я читала, все картины, которые видела, можно забыть. Теперь все не так. Нужно поспать.

Проснулась посреди ночи. Пыталась нащупать часы, которые положила на крышку чемодана под кроватью, их там не было. Ну вот! Началось! С соседней кровати голос: «Вот они, милая, в следующий раз будьте осторожнее». Половина первого. Я проспала около четырех часов. Я, конечно, пока живу по английскому времени, так что должно быть еще семь вечера. Сна ни в одном глазу, сажусь в постели. Я нахожусь в женской спальне общежития Общества миссионеров — ОМ. Здесь семь коек, четыре у одной стены, три у другой. Все они заняты, и лежащие на них, похоже, спят. Но город снаружи все еще бодрствует и никак не угомонится. Даже музыка где-то играет. Уличные фонари освещают голые окна спальни, наполняя

комнату призрачным светом, в котором спящие на кроватях похожи на готовые к погребению тела.

Но соседка и хранительница моих часов не спит и хочет поговорить.

— Вы, верно, только приехали, поэтому так неосмотрительны. Ну ничего, скоро научитесь, все учатся… С едой будьте осторожны поначалу, пейте только кипяченую воду и ни в коем случае не покупайте ничего с лотков… Потом иммунитет разовьется. Я теперь могу есть все что угодно, если захочу. Не то чтобы хотелось, терпеть не могу их пищу, в жизни бы к ней не притронулась. Здесь в ОМ вполне можно есть. Мисс Тайц следит за готовкой, тут хорошее рагу делают, иногда жаркое и заварной крем. Я всегда здесь останавливаюсь, когда езжу в Бомбей. Мисс Тайц я уже двадцать лет знаю. Она швейцарка, приехала с Христианскими сестрами, а последние десять лет управляет ОМ. Им с ней здорово повезло.

Возможно, из-за призрачного света моя соседка похожа на привидение, к тому же ее с ног до головы укутывает белая ночная рубашка. Волосы заплетены в одну уныло свисающую косицу. Она вся бумажно-белая, вот-вот испарится, как настоящий призрак. Она рассказывает, что уже

тридцать лет в Индии и что, если Господь хочет, чтобы она умерла здесь, так оно и будет. С другой стороны, если Он захочет сначала привести ее домой, она и на это согласна. На все Его воля, тридцать лет она живет, исполняя Его волю. Голос ее, когда она произносит эти слова, уже совсем не напоминает голос призрака, он становится сильным — в нем звенит неколебимое чувство долга.

— У нас есть своя небольшая часовня в Хафарабаде. Городок растет, там есть текстильные фабрики, но чего уж точно нет, так это роста добродетели. Тридцать лет назад, я бы сказала, еще была надежда, но сегодня — никакой. Куда ни посмотри, везде та же история. Большие заработки, значит, больше себялюбия, больше крепких напитков, больше кино. Женщины раньше носили простые хлопковые дхоти[2], а теперь им хочется, чтобы сверху все сверкало. А уж про то, что внутри, и говорить не приходится. Но чего ожидать от этих бедных людей, когда и наши прямиком идут в ад! Вы видели это место на той стороне улицы? Только посмотрите.

Я подхожу к окну и смотрю вниз. На улице светло, как днем, и не только из-за уличного

[2] Примечания: 2

Дхоти — легкие свободные штаны, затягивающиеся веревочкой на талии, или юбка-запашка, обычно — мужская.

освещения: на каждом лотке и бочке светится масляная лампа. Везде толпы людей, некоторые спят. Снаружи так тепло, что просто ложись и спи себе, и белья постельного не нужно. Вот несколько детей-калек, один мальчик отталкивается культей от земли; днем они, наверное, просят подаяния, но сейчас свободны от работы и беззаботны, даже веселы. Люди покупают еду у лоточников и прямо там едят, иные ищут выброшенное съестное в канавах.

Моя собеседница показывает на другое окно. Отсюда открывается вид на гостиницу «А». Об этом месте меня предупреждали перед приездом. Мне было сказано, что каким бы унылым и мрачным мне ни показалось общежитие ОМ, ни в коем случае не останавливаться в «А».

— Видите? — говорит она, не вставая с постели.

Я вижу. Здесь тоже было очень светло от фонарей и магазинов. Пешеходную дорожку перед «А» заполонили люди, но не индусы, а европейцы. Совершенные изгои с виду.

Она объяснила: по восемь-девять человек в комнате, а у некоторых и на это денег нет, спят прямо на улице. Друг у друга попрошайничают и друг у друга же воруют. Некоторые очень молоды,

просто дети, для них, возможно, есть еще надежда, и, по воле Божией, они доберутся домой, пока не поздно. Но остальные-то, женщины и мужчины, они же здесь годами торчат, и с каждым годом им все хуже. Вы видите, в каком они состоянии. Все больны, некоторые при смерти. Кто это такие, откуда они? Однажды я жуткую картину видела. Парню, наверное, не больше тридцати, немец, может, или откуда-то из Скандинавии, очень светлый и высокий. Одежда вся изорвана, и кожа белая проглядывает. Длинные волосы, совершенно спутанные и свалявшиеся, а рядом — обезьянка. И обезьянка эта у него вшей искала. Я ему в лицо посмотрела, в глаза, ну просто душа в аду, скажу я вам. Я вообще в Индии ужасные вещи видела. Пережила индусско-мусульманское восстание, эпидемию оспы и голод; могу смело сказать, что я видела все, что только можно видеть на этом свете. И после поняла одно: нельзя выжить в Индии без Иисуса Христа. Если Он не с тобой каждый миг, днем и ночью, и ты Ему не молишься изо всех сил, если этого нет, то станешь, как тот бедняга с обезьянкой. Потому что, видишь ли, милая, ничто человеческое здесь не имеет значения. Ничто, сказала она, как сказал бы индус или буддист: с презрением ко всему, что

эта земная жизнь может предложить.

Она сидела в постели. И хотя она была тоненькой и белой, в ней ощущалась несгибаемость, ожесточенность. Призрак с характером. Я снова посмотрела на лежащие на улице тела, освещенные фонарями гостиницы «А». Должно быть, она права: эти люди и впрямь были словно души в аду.

16 февраля. Сатипур. Мне повезло — я уже нашла комнату. Я ею очень довольна. Чудесная, просторная, пустая и в ней много воздуха. Есть окно, у которого я иногда сижу и смотрю на базар. Она над магазином тканей, приходится карабкаться вверх по темной лестнице. Сдает ее правительственный чиновник по имени Индер Лал, который живет с женой, матерью и тремя детьми в убогих комнатушках, задвинутых в самый конец двора, за магазином. Двор вместе с магазином принадлежит кому-то другому. Все поделено и разделено, и я — еще один отсек. Но здесь, наверху, у меня простор и уединение, вот только удобства общие в дальнем конце двора, и к ним приставлена девочка-уборщица — тоже одна на всех.

Я думаю, мой домовладелец Индер Лал недоволен тем, как я устроилась у себя в комнате. Он

все смотрит по сторонам в поисках мебели, но ее у меня нет. Сижу я на полу, а ночью расстилаю спальный мешок. Единственный предмет мебели, который я пока приобрела, — это крошечный письменный столик высотой с табурет, на котором я разложила свои бумаги, этот дневник, учебник хинди, словарь и письма Оливии. За такими же письменными столиками владельцы магазинов занимаются бухгалтерией. Индер Лал смотрит на мои голые стены. Наверное, он надеялся, что я повешу картинки и фотографии, но мне ничего такого не нужно — достаточно просто глянуть из окна на базар внизу. От этого вида мне уж точно не хотелось бы отвлекаться. Поэтому и занавесок у меня нет.

Индер Лал слишком вежлив, чтобы выразить вслух свое разочарование. Сказал только: «Вам здесь не очень-то удобно», — и быстро опустил глаза, словно испугался, что мне станет неловко. То же самое произошло, когда я впервые приехала со своим багажом. Я не нанимала носильщика, а взвалила свой сундучок и постель на плечи и втащила все наверх. И тогда тоже, невольно издав потрясенный возглас, он опустил глаза, не желая меня смущать.

Ему было бы легче, будь я как Оливия. Она была

совсем другая, не такая, как я. Первое, что она сделала по приезде в свой дом (дом заместителя инспектора по налогам), — завалила его ковриками, картинами, цветами. Она писала Марсии: «Мы начинаем приобретать цивилизованный вид». И еще позже: «Миссис Кроуфорд (жена налогового инспектора — сама мемсаиб) сегодня пришла проверить мое гнездышко. Не думаю, что у нее сложилось благоприятное впечатление обо мне и этом самом гнездышке, но она чрезвычайно тактична! Ей известно, как труден обычно первый год; и, если она хоть чем-нибудь может помочь и облегчить мое существование, мне следует помнить, что она всегда рядом. Я ее сдержанно поблагодарила. Честно говоря, присутствие миссис Кроуфорд — единственная моя здешняя трудность, все остальное даже слишком хорошо! Если бы я только могла ей это сказать».

Я уже видела дом, в котором жили Дуглас и Оливия. По счастливому совпадению, оказалось, что контора, где работает Индер Лал, находится прямо в бывшем британском жилом квартале, известном под названием Гражданские линии. Отдел сбыта и снабжения Индера Лала располагается в бывшем доме налогового инспектора (в 1923 году принадлежавшем мистеру Кроуфорду).

В бунгало Дугласа и Оливии теперь приютились отделы водоснабжения и здравоохранения, а также почта. Оба эти дома разделены и разбиты на несколько частей, выполняющих самые разные функции. Только дом главного врача остался в неприкосновенности и, по идее, служит местом отдыха для путешествующих.

20 февраля. Сегодня утром я заглянула к двум женщинам семейства Индера Лала: к его жене Риту и его матери. Не знаю, застала ли я их врасплох или они всегда живут так, но дом их был совершенно не прибран. Конечно, комнатки тесные, и дети в том возрасте, когда от них сплошной беспорядок. Риту торопливо убрала со скамьи разбросанную одежду и игрушки. Я бы предпочла сесть на пол, как и хозяева, но поняла, что теперь должна придерживаться правил, которые, по их мнению, соответствуют моему статусу. Свекровь со знанием дела шикнула на невестку, что, как мне показалось, было приказанием принести мне прохладительный напиток. Риту метнулась из комнаты, словно обрадовалась разрешению уйти, оставив свекровь и меня вдвоем, чтобы мы — насколько возможно — составили впечатление друг о друге. Мы заулыбались, я попыталась прибегнуть к своему хинди, но без особого успеха

(нужно больше заниматься!), затем обменялись многообещающими жестами и застряли. Все это время она вглядывалась в меня пронзительным, оценивающим взглядом, и я представила себе, как она, когда искала жену для сына, разглядывала девушек перед тем, как остановиться на Риту. Инстинктивно она подсчитывала и мои баллы, но, увы, нетрудно догадаться, каков был итог.

Я уже привыкла к тому, что в Индии тебя постоянно оценивают. Этим занимаются все и везде: на улице, в автобусах и в поездах, причем совершенно открыто — и женщины и мужчины, никто и не думает скрывать свое удивление, если вы его вызвали. Я полагаю, мы им кажемся странными: живем среди них, едим их пищу и часто носим индийскую одежду, потому как в ней прохладнее и стоит она дешевле.

Покупка индийской одежды была первым, что я сделала, после того как устроилась в Сатипуре. Я пошла в магазин тканей на первом этаже, а затем к маленькому портному по соседству, который сидел на мешковине со своей машинкой. Он снял с меня мерку прямо тут же, на виду у всей улицы, но так старался держать дистанцию, что его измерения оказались слишком далеки от реальности. В результате одежда моя висит на мне, но

назначению своему соответствует, и я ей очень рада. Теперь я ношу пару мешковатых штанов, завязанных шнурком у талии, как женщины в Пенджабе, и такую же рубаху до колен. Еще у меня есть индийские сандалии, которые я скидываю и оставляю у порога, как все. (Сандалии мужские, так как женские размеры мне не подошли.) Хотя одета я, как индийская женщина, дети все равно бегают за мной, но мне безразлично, я уверена, что скоро они ко мне привыкнут.

Есть одно слово, которым меня все время называют: «хиджра». К сожалению, я знаю, что оно означает. И знала еще до приезда в Индию из письма Оливии. Она сама узнала его от принца Наваба, который сказал, что миссис Кроуфорд похожа на хиджру (тетушка Бет была, как и я, плоская спереди). Оливия, конечно, не знала, что это слово означает, и, когда спросила Наваба, тот громко расхохотался. Я вам покажу, сказал он вместо объяснения и, хлопнув в ладоши, отдал какое-то распоряжение. Через некоторое время привели труппу хиджр, и Наваб заставил их исполнить традиционную песню и пляску для Оливии.

Я тоже видела, как они поют и танцуют. Это случилось, когда Индер Лал и я шли вместе, после

того как он показывал мне место своей службы. Мы были недалеко от дома, когда я услышала грохот барабанов, доносящийся из боковой улочки. Индер Лал сказал, что это «так, ничего особенного», но мне стало любопытно, и он неохотно пошел со мной. Мы шли через лабиринт ветвящихся переулков, затем вошли под арку и в проход, который вел во внутренний двор. Здесь выступала труппа хиджр — евнухов. Один из них бил в барабан, остальные пели, хлопали в ладоши и выполняли какие-то танцевальные движения. Кучка зрителей с удовольствием смотрела представление. Хиджры были сложены по-мужски, с большими руками, плоской грудью и крупной челюстью, но одеты они были, как женщины, в сари, украшенные мишурой. Танцевали они, пародируя женские движения, и, полагаю, именно это так веселило публику. Но мне показалось, что лица их были печальны, и, даже когда они ухмылялись и производили двусмысленные жесты в ответ на двусмысленные слова (все смеялись, а Индер Лал захотел, чтобы я ушла), с их лиц все это время не сходило выражение скуки и обеспокоенности, словно они только и делали, что думали, сколько им заплатят за работу.

24 февраля. Так как сегодня воскресенье, Ин-

дер Лал великодушно предложил отвезти меня в Хатм, показать дворец Навабов. Мне было неудобно увозить его от семьи в выходной день, но никто не возражал. Не знаю, как его жене не надоедает сидеть целыми днями взаперти в двух маленьких, комнатках со свекровью и тремя детьми. Я ни разу не видела, чтобы она куда-нибудь ходила, кроме как изредка на базар за овощами в сопровождении свекрови.

Никогда еще я не ездила в Индии на автобусе, который не был бы набит до отказа людьми, с багажом сверху. Автобусы обычно старые и на ухабах встряхивают каждую косточку в вашем теле и каждый винтик — в своем. И автобус, и пейзаж, мимо которого он следует, всегда один и тот же. Когда город остается позади, то до следующего ничего нет, кроме плоской земли, выжженного неба, большого расстояния и пыли. Особенно пыли: автобус открытый, с перекладинами по бокам, и жаркие ветры свободно продувают его насквозь, принося с собой песок пустыни, который забивает уши и ноздри и хрустит на зубах.

Хатм оказался довольно жалким городком. Сатипур, конечно, тоже не блещет, но чувствуется, что ему дана свобода — он может расти, как ему вздумается. А Хатм просто забился в тень дворца

правителя. Казалось, его построили исключительно для нужд принца и его приближенных, и теперь, когда во дворце никого не осталось, городок не знал, чем заняться. Улицы запружены народом, запущены и грязны. Везде полным-полно нищих.

Защищенный жемчужно-серыми стенами, дворец располагается на просторном участке, где много высоких деревьев. Есть там и фонтаны, и каналы, и садовые павильоны, и маленькая частная мечеть с позолоченным куполом. Мы с Индером Лалом уселись под деревом, пока смотритель ушел искать ключи. Я спрашивала Индера Лала о семье Наваба, но он знает не больше моего. После смерти принца в 1953-м году его племянник Карим еще младенцем унаследовал дворец. Но там никогда не жил. На самом деле он живет в Лондоне, где я познакомилась с ним перед приездом сюда (о чем напишу позже). Родственники все еще ведут переговоры с индийскими чиновниками о продаже дворца, но до сих пор цена так и не установлена. Других покупателей нет, кому сейчас нужно такое место, причем в Хатме?

Индеру Лалу не хотелось обсуждать Наваба. Да, он слыхал о нем и его скверной, распутной жизни, доходили какие-то слухи и о старом позорном

происшествии. Но кому это теперь интересно? Все участники давно умерли, и, даже если где-то кто-то и остался в живых, никому нет до них дела. Гораздо больше Индеру Лалу хотелось поговорить о своих многочисленных неприятностях. Когда появился человек с ключами, мы обошли дворец, и я увидела все залы, комнаты и галереи, о которых так много думала и которые пыталась себе представить. Но теперь там пусто — мраморная скорлупа. Мебель была распродана на аукционах в Европе, и все, что осталось, — это несколько сломанных викторианских диванов, которые всплывали тут и там в этом мраморном море, словно обломки кораблекрушения, да еще пары старых тряпочных опахал, пыльными тучками свисавших с потолка.

Индер Лал шел за мной и рассказывал о делах в своей конторе. Сплошные интриги и зависть. Индер Лал не хочет быть втянутым в эти дрязги, единственное, о чем он просит, — дать ему возможность выполнять свои обязанности, но это не получается, его просто не могут оставить в покое. На самом деле, зависть и интриги плетутся и против него, так как начальник отдела к нему расположен. Это ужасно досаждает коллегам Индера Лала, которые из кожи вон лезут (такова уж

их природа), чтобы выбить из-под него кресло.

Мы стояли на верхней галерее, куда выходила главная гостиная. Смотритель объяснил, что женщины сидели здесь за занавесью и исподтишка глядели сверху на светские развлечения. Одна занавесь осталась висеть — дорогая парча, затвердевшая от пыли и времени. Я взяла ее в руки, чтобы полюбоваться тканью, но под пальцами оказалось нечто мертвое, готовое вот-вот рассыпаться в прах. Индер Лал, только что говоривший о своем начальнике, чей рассудок, к несчастью, был отравлен злобными нашептываниями враждующих сторон, тоже потрогал занавесь. В его замечании «Куда же все подевалось?» — прозвучало чувство, на которое тут же отозвался смотритель. Но затем оба решили, что я видела достаточно. Когда мы снова вышли в сад, удивлявший своей зеленой тенистостью, как дворец — своей белизной и прохладой, смотритель быстро заговорил с Индером Лалом. Я поинтересовалась частной мечетью принца, но Индер Лал заявил, что мне это будет неинтересно и что вместо нее смотритель мне сейчас покажет маленький индусский алтарь, который он установил для своих личных богослужений.

Я не знаю, чем служило это помещение из-

начально, возможно, хранилищем? По правде сказать, было оно не больше ниши в стене, и, чтобы войти, нужно было пригнуться. С нами вместе туда набилось еще несколько человек. Смотритель зажег электрическую лампочку и открыл взорам алтарь. Главный бог Хануман, в обличье длиннохвостой обезьяны, находился за стеклом, два других тоже были в отдельных стеклянных футлярах. Все фигурки были сделаны из гипса и одеты в лоскутки шелка и жемчужные ожерелья. Смотритель выжидающе взглянул на меня, и мне, конечно, пришлось сказать, что все очень красиво, и дать ему пять рупий. Мне страшно хотелось выйти — вентиляция отсутствовала, из-за столпившихся людей было не продохнуть. Индер Лал кланялся трем улыбающимся богам. Его глаза были закрыты, а губы набожно шевелились. Мне дали несколько кусочков сахару и немного цветочных лепестков, которые я, конечно, не могла выбросить и держала в руке на обратном пути в Сатипур. Когда мне показалось, что Индер Лал не смотрит, я осторожно высыпала их из окна автобуса, но ладонь осталась липкой и пахла сладостью и увяданием. Я до сих пор чувствую этот запах, пока пишу.

1923

Оливия впервые познакомилась с принцем Навабом на ужине, который он устроил в своем дворце в Хатме. К тому времени она жила в Сатипуре несколько месяцев и уже начинала скучать. Обычно они с Дугласом виделись только с Кроуфордами (налоговым инспектором и его женой), Сондерсами (главным врачом с женой) и майором и миссис Минниз. Это бывало вечерами и по воскресеньям. Остальное время Оливия оставалась одна в своем большом доме, где все двери и окна были закрыты, чтобы не впускать жару и пыль. Она проводила долгие часы за чтением и игрой на пианино, но дни тянулись так долго. Дуглас был всегда очень занят в округе.

В день, когда Наваб устроил ужин, Дуглас и Оливия поехали в Хатм с Кроуфордами в их автомобиле. Сондерсы тоже были приглашены, но не смогли прибыть из-за плохого самочувствия миссис Сондерс. Ехать нужно было примерно пятнадцать миль, и Дуглас, и Кроуфорды, которые уже знали, что такое развлечения у Наваба, стоически переносили как неудобное путешествие, так и мысль о предстоящем увеселении. Но Оливия была приятно взволнована. Она была

в дорожном льняном костюме кремового цвета, а ее вечернее платье, атласные туфли и шкатулка с драгоценностями хранились в чемодане. Ее очень радовала мысль, что скоро она переоденется и будет у всех на виду.

Как и многим индусским правителям, принцу Навабу нравилось развлекать европейцев. Его положение, правда, было невыгодно: развлекать их было нечем, так как в его владениях не имелось ни интересных развалин, ни охотничьих угодий. А все, что имелось, — это сухая земля и обнищавшие деревни. Но его дворец, построенный в 1820-х годах, был великолепен. У Оливии загорелись глаза, когда ее провели в столовую и она увидела под люстрами очень длинный стол, уставленный севрским фарфором, серебром, хрусталем, цветами, канделябрами, гранатами, ананасами и маленькими золочеными чашами с засахаренными фруктами. Она почувствовала, что наконец-то попала в нужное место в Индии.

Вот только гости никуда не годились. Помимо компании из Сатипура присутствовала также еще одна английская пара — майор и миссис Минниз, которые жили недалеко от Хатма, и какой-то Гарри, полный, лысеющий англичанин, гостивший у Наваба. Майор и его жена были

точь-в-точь, как Кроуфорды. Полномочия майора состояли в том, чтобы давать советы Навабу и правителям соседних штатов по политическим вопросам. Он жил в Индии уже больше двадцати лет и ему, как и его жене, была известна каждая мелочь. Кроуфорды тоже все знали. И те, и другие принадлежали к семьям военных, служивших в разных индийских полках еще до восстания. Оливия уже была знакома с такими старожилами, и ей успели наскучить и они, и их бесконечные рассказы о том, что произошло в Кабуле или Мултане. Она то и дело спрашивала себя, как им удавалось, ведя такую интересную жизнь (они управляли целыми провинциями, отвоевывали границы, давали советы правителям), нагонять столь великую тоску на окружающих. Она оглядела сидящих за столом: миссис Кроуфорд и миссис Минниз в их старомодных платьях, более подходящих для какого-нибудь захолустного курорта в Англии, — куда они в один прекрасный день удалятся, — чем для королевского приема; майор Минниз и мистер Кроуфорд, надутые и напыщенные, с голосами, беспрестанно гудевшими от самодовольной уверенности, что их внимательно слушают, хотя все, что они говорили, казалось Оливии таким же скучным, как и они

сами. Только Дуглас был не такой. Она украдкой взглянула на него, да, он был безупречен. Как всегда, сидел очень прямо, нос и высокий лоб были тоже прямыми, фрак сидел как влитой. Само достоинство и честь.

Оливия была не единственной, кто восхищался Дугласом. Гостивший у Наваба англичанин по имени Гарри, сидевший рядом с ней, прошептал: «Мне нравится ваш муж». — «В самом деле? — спросила Оливия. — Мне тоже». Гарри взял с колен салфетку и, прикрывшись, хихикнул в нее. Не отнимая ее от рта, он прошептал: «Ничего похожего на наших остальных друзей», — и его глаза скользнули по Кроуфордам и Миннизам, а потом, когда он взглянул на нее, в отчаянии закатились. Она знала, что это нехорошо, но с трудом сдерживала ответную улыбку. Было очень приятно сознавать, что кто-то разделяет ее чувства — до сих пор в Индии такого человека ей еще не встретилось. Не исключая Дугласа, как ни странно. Она снова посмотрела на него, пока он внимательно, с искренним уважением слушал майора Миннниза.

И Наваб, сидящий во главе стола, казалось, тоже слушал гостя со вниманием и уважением. Он даже подался вперед, не желая упустить ни

единого слова. Когда история майора приняла забавный оборот (тот рассказывал о дьявольски умном ростовщике в Патне, который много-много лет назад попытался обхитрить майора, когда тот был еще молод и зелен), Наваб, стремясь показать, что ценит юмор майора, откинулся назад и стукнул по столу. И прервал смех только для того, чтобы пригласить остальных гостей присоединиться к нему и тоже посмеяться. Но Оливии показалось, что он это нарочно, она была почти уверена в этом. Она видела, что, хотя, на первый взгляд, он был совершенно поглощен рассказом майора, он столь же внимательно следил за всем, что происходило за столом. Всегда первым замечал опустевший бокал или тарелку, тут же отдавал быстрый приказ — обычно взглядом, а иногда брошенным вполголоса словом на урду. В то же время он изучил каждого из гостей, и Оливии казалось, что он пришел к некоторым заключениям относительно их. Ей очень бы хотелось знать, к каким именно, но она подозревала, что он постарается их тщательно скрыть. Если только она не узнает его поближе. Глаза Наваба часто останавливались на ней, и она позволяла ему разглядывать себя, притворяясь, будто ничего не замечает. Ей это нравилось, как и его

взгляд, которым он окинул ее в момент их первой встречи. Тогда его глаза загорелись, и, хотя он тут же взял себя в руки, Оливия заметила этот взгляд и поняла, что вот наконец-то есть в Индии человек, которому она интересна в том смысле, к которому привыкла.

После этого вечера Оливии было уже не так тоскливо проводить в одиночку день за днем в большом доме. Она знала, что Наваб приедет к ней с визитом, и каждый день наряжалась в прохладный муслин пастельных тонов и ждала. Дуглас всегда поднимался на рассвете, очень тихо, чтобы не разбудить ее, и выезжал на инспекцию до того, как солнце начинало жарить. Затем он отправлялся в суд и в свою контору и обычно проводил весь рабочий день в суете, а домой возвращался поздно вечером да еще и с бумагами (окружные чиновники работали на износ!). К тому времени, когда поднималась Оливия, слуги прибирали весь дом, задергивали шторы и закрывали ставни. Весь день принадлежал ей одной. В Лондоне ей всегда нравилось тратить много времени на себя, она считала себя человеком, склонным к самоанализу. Но здесь ее начинали угнетать эти одинокие дни взаперти со слугами, которые шлепали по дому босыми

ногами и уважительно ждали, пока она чего-нибудь пожелает.

Наваб приехал через четыре дня после званого вечера. Она играла Шопена и, услыхав его автомобиль, продолжала играть с удвоенным усердием. Слуга доложил о нем, и, когда Наваб вошел, Оливия повернулась к нему на своем табурете и широко раскрыла свои и без того большие глаза: «Наваб-саиб, какой приятный сюрприз». Она поднялась, чтобы поприветствовать его, протянув обе руки навстречу.

Он приехал с целой компанией (позже она узнала, что он не ездит без сопровождения). Компания состояла из англичанина Гарри и многочисленных молодых людей из дворца. Они все устроились, как дома, в гостиной Оливии, грациозно расположившись на диванах и коврах. Гарри объявил, что гостиная у нее совершенно очаровательная: ему очень понравились черно-белые фотографии, японская ширма, желтые стулья и абажуры. Он плюхнулся в кресло и обессиленно задышал, притворяясь, что пересек пустыню и теперь добрался до оазиса. Навабу тоже, казалось, было весело. Они остались на целый день.

Время пролетело очень быстро. После Оливия не могла вспомнить, о чем они говорили. В основ-

ном, говорил Гарри, а они с Навабом смеялись над его забавными историями. Остальные молодые люди плохо понимали английский и не могли принять участие в разговоре — занимались смешиванием коктейлей по рецепту Наваба. Он придумал особую смесь, состоящую из джина, водки и шерри-бренди, которую дал Оливии попробовать (напиток оказался слишком крепким для нее). Водку он привез свою, так как, по его словам, ее ни у кого не было. Он завладел целым диваном и сидел прямо посередине, положив вдоль спинки обе руки и вытянув ноги во всю длину. Он держался совершенно непринужденно, как хозяин положения, каковым, собственно, и был. Наваб предложил Оливии не только выпить его коктейль, но и устроиться поудобнее на диване напротив, получать удовольствие от шуток Гарри и всех остальных развлечений, которыми их сегодня еще порадуют.

В тот вечер Дуглас застал Оливию не в слезах скуки и утомления, как обычно, а в таком возбуждении, что на секунду испугался, нет ли у нее температуры. Он положил руку ей на лоб: индийских лихорадок он повидал немало. Она засмеялась. Когда она рассказала ему о своих гостях, Дуглас заколебался, но, увидев, как она

весела и довольна, решил, что ничего страшного в этом нет. Она так одинока, и было любезно со стороны Наваба ее навестить.

Спустя несколько дней из дворца пришло еще одно официальное приглашение, на этот раз им обоим. К нему была приложена милая записка, в которой говорилось, что, если они пожелают осчастливить Наваба своим присутствием, он, конечно, пришлет за ними автомобиль. Дуглас был озадачен и сказал, что Кроуфорды, как обычно, отвезут их на своей машине. «О боже, дорогой, — нетерпеливо сказала Оливия, — не думаешь же ты, что их *тоже* пригласили». Дуглас посмотрел на нее в изумлении, каждый раз, когда ему случалось вот так изумляться, его глаза чуть выкатывались из орбит и он начинал заикаться.

Позже, когда стало ясно, что Кроуфордов и в самом деле не пригласили, ему стало не по себе. Он сомневался, что они с Оливией вправе принять приглашение. Но она настаивала, она была полна решимости. Она говорила, что ей не так уж весело здесь — *поверь* мне, дорогой — и что ей не хотелось бы упускать возможность немного развлечься, раз подвернулся случай. Дуглас прикусил язык, он знал, что Оливия была права, но его смущала необходимость выбора. Он думал,

что ехать неприлично, и пытался объяснить это Оливии, но она его словно не слышала. Они спорили, приводя аргументы за и против. Оливия даже встала с утра пораньше, чтобы продолжить разговор. Она вышла вместе с ним из дома, где уже стоял его конюх, придерживая лошадь. «Ну, *пожалуйста,* Дуглас», — сказала она, глядя на него снизу, когда он был уже в седле. Он не ответил, так как ничего не мог обещать, хотя ему очень хотелось. Он смотрел, как она повернулась и пошла обратно в дом, в кимоно, такая хрупкая и несчастная. «Я просто зверь», — думал он весь день. Но позже отправил Навабу записку, в которой с сожалением отклонил приглашение.

* * *

28 февраля. Один из старых британских домов на Гражданских линиях, в отличие от остальных, отдан не под муниципальные конторы, а под место отдыха для путешественников. Убирал и открывал им дом специально для этого нанятый древний сторож. Однако должность эта ему не по душе — он предпочитает проводить время как душе угодно. Когда посетитель дает о себе знать, смотритель требует предъявить официальное разрешение, а если такового не имеется, считает,

что обязанности его исчерпаны, и, шаркая, удаляется в свою уютную хижину.

Вчера у этого дома я увидела довольно странную троицу. Поскольку сторож отказался отпереть дверь, им пришлось расположиться со всеми своими вещами на веранде. То были молодой человек и его подружка, оба англичане, и еще один парень, тоже англичанин (говоривший с тягучим акцентом одного из центральных графств), но ни за что не желавший в этом признаваться. Он заявил, что отказался от своей индивидуальности. Отказался он также и от своей одежды: на нем не было ничего, кроме оранжевого балахона, которые носят индийские аскеты. Голову он начисто выбрил, оставив лишь пучок волос на макушке, как индусы. Хотя от мира он отрекся, его не меньше других рассердил отказ сторожа их впустить. Больше всех негодовала девушка, и не только из-за сторожа, но вообще из-за всех людей в Индии. Она сказала, что они все грязные и *лживые*. У нее было миловидное, открытое английское лицо, но, когда она произнесла эти слова, оно стало неприветливым и жестким, и я подумала, что чем дольше она пробудет в Индии, тем жестче будет делаться ее лицо.

— Зачем вы приехали сюда? — спросила я.

— Чтобы обрести мир, — мрачно засмеялась она. — Пока все, что я обрела, это дизентерия.

А ее молодой человек добавил:

— Здесь только это и можно найти.

Затем оба принялись перечислять свои несчастья. В храме Амритсара у них украли часы; по пути в Кашмир их облапошил человек, обещавший недорогую баржу и смывшийся после первого же взноса; там же в Кашмире его подруга заболела дизентерией, возможно амебной; в Дели их опять надули: какой-то напористый торговец пообещал обменять их деньги по очень высокому курсу и исчез вместе с ними через заднюю дверь кафе, где они условились встретиться; в Фатехпур-Сикри к девушке пристала компания молодых сикхов; у молодого человека обчистили карманы на поезде в Гоа; в Гоа он ввязался в драку с каким-то сумасшедшим датчанином, вооруженным бритвой, и, вдобавок ко всему, молодой человек подцепил что-то вроде желтухи (началась эпидемия), а девушка — стригущий лишай.

В этот момент сторож вышел из своей хижины, где он, похоже, готовил себе что-то лакомое. Он заявил, что на веранде оставаться запрещается. Молодой англичанин угрожающе засмеялся и сказал: «Тогда давай, попробуй нас прогнать».

Хоть и несколько истощенный болезнью, он был здоровым парнем, и сторож погрузился в задумчивость. Через некоторое время он сказал, что, если они собираются разбить свой лагерь на веранде, то это им обойдется в пять рупий, включая воду из колодца. Англичанин указал на запертые двери и сказал: «Открывай». Сторож удалился к своей стряпне, возможно, чтобы обдумать свой следующий шаг.

Молодой человек рассказал мне, что они с девушкой заинтересовались индуизмом после посещения лекции в Лондоне, которую читал заезжий свами[3]. Лекция была о Всеобщей Любви. Мягким и убаюкивающим голосом, очень подходящим к теме, свами поведал им о Всеобщей Любви, что была океаном благоденствия, который обволакивал все человечество, накрывая волнами меда. У него был тающий взгляд и блаженная улыбка. Вся обстановка была до невозможности красива: жасмин, благовония и банановые листья; повествование свами сопровождалось аккомпанементом: один из учеников нежно играл на флейте, а другой, еще более нежно, ударял в крошечные медные тарелки. Остальные ученики

[3] Примечания: 3

Свами — почетный титул в индуизме; означает на санскрите «владеющий собой» или «свободный от чувств».

сидели вокруг свами на сцене. Почти все они были европейцы в темно-оранжевых одеждах, и выражения их лиц были непорочны, словно очищены от грехов и желаний. Потом они пели религиозные гимны на хинди, которые тоже были об океане любви. Молодой человек и девушка ушли с этой встречи, преисполнившись таких возвышенных чувств, что долго не могли говорить; а когда обрели дар речи, пообещали друг другу тотчас же отправиться в Индию в поисках столь чаемого духовного роста.

Аскет заявил, что тоже приехал с духовной целью. Его привлекли писания на хинди, и когда он прибыл в Индию, то отнюдь не разочаровался. Ему казалось, что дух этих манускриптов все еще живет в великих храмах на юге страны. Месяцами он там оставался, подобно индусскому паломнику, очищенный и настолько погруженный в раздумья, что окружающий мир постепенно исчез напрочь. Он тоже заболел дизентерией и стригущим лишаем, но на том высоком уровне, которого он достиг, его это не беспокоило. Не беспокоило его даже исчезновение немногочисленного имущества с территории храма, где он жил. Он нашел гуру, который произвел обряд посвящения и освободил его от всех ин-

дивидуальных особенностей, а также и от всего остального, включая имя. Он получил новое имя: Чидананда (спутники называли его Чид). С тех пор у него не было ничего, кроме четок и плошки для подаяний, в которую он должен был собирать еду у милосердных людей. На самом же деле, это не всегда получалось, и ему приходилось обращаться домой с просьбой прислать денег по телеграфу. Следуя указаниям своего гуру, он отправился в паломничество через Индию, конечной целью которого была священная пещера Амарнатх. Он путешествовал уже много месяцев. Главным бедствием были преследующие его и глумящиеся люди, особые хлопоты причиняли дети, частенько швырявшие в него камни и все, что под руку попадет. Спать под деревьями, как велел гуру, оказалось невозможно, поэтому по ночам он искал прибежища в дешевых гостиницах, где ему приходилось долго торговаться, чтобы добиться разумной цены.

Сторож вернулся, подняв три пальца, что означало: цена за привал на веранде снизилась до трех рупий. Англичанин снова указал на запертые двери. Переговоры возобновились, и вскоре сторож принес ключи. Вообще-то оказалось, что на веранде было гораздо приятнее. В доме царила

тьма и пахло плесенью и смертью. На полу старой столовой мы обнаружили дохлую белку. Там все еще стоял буфет с зеркалами и портретом Георга Пятого в рамке. Дом был темный, погруженный в раздумья, и никаким другим его нельзя было и представить. С задней веранды открывался вид на христианское кладбище: я увидела возвышающегося над остальными могилами мраморного ангела, которого Сондерсы заказали в Италии, — надгробный памятник их ребенку. Мне внезапно пришло в голову, что именно в этом мрачном доме и жил мистер Сондерс, главный врач. Я и не думала, что миссис Сондерс созерцала могилу своего малютки с собственной веранды. Тогда мраморный ангел был в целости и сохранности и, сверкая белизной, стоял с распахнутыми крыльями и младенцем на руках. Теперь же это безголовый и бескрылый торс, а у младенца нет носа и одной ножки. Могилы в очень плохом состоянии: они задушены сорняками, лишены последнего осколка мрамора и всех оград, какие только удалось стащить. Странно, когда могилы так заросли и заброшены, люди в них делаются по-настоящему мертвыми. Индийские христианские могилы в начале кладбища, за которыми ухаживают родственники, наоборот, кажутся

необычно живыми и современными.

1923

На Оливию кладбища всегда производили сильное впечатление. Еще в Англии ей нравилось бродить там, читать надписи и даже сидеть на могилах под плакучими ивами и давать волю воображению. Кладбище в Сатипуре пробуждало особенные чувства. Хотя в Сатипуре жило немного британцев, за долгие годы немало их умерло здесь, да и из тех мест, где своего христианского кладбища не было, тела привозили тоже сюда. Большинство могил были младенческие и детские, но сохранилось и несколько связанных с восстанием, когда доблестный отряд офицеров британской армии погиб, защищая женщин и детей. В самой свежей могиле покоился ребенок Сондерсов, и итальянский ангел был самым новым и чистым памятником.

Оливию глубоко потрясла могила младенца, когда она увидела ее впервые. В тот вечер Дуглас обнаружил жену лежащей ничком на постели, она запретила слугам входить и открывать ставни, поэтому комната весь день была закрыта, там стояла удушающая жара, а Оливия утопала в поту и слезах.

— О Дуглас, — сказала она, — а вдруг у нас будет ребенок? — И расплакалась. — И вдруг он умрет!

Он долго утешал ее. На целый вечер бумаги пришлось отложить, и он посвятил его Оливии. Он сказал ей все, что только мог. Сказал, что сейчас младенцы не умирают так часто. Он сам родился в Индии, и его мать родила еще двоих детей, и они живы и здоровы. Раньше и в самом деле много детей умирало, его прабабушка потеряла пятерых из девяти, но это произошло очень давно.

— А как же ребенок миссис Сондерс?

— Ну, это где угодно может произойти, родная. У нее были осложнения или что-то в этом роде…

— У меня точно будут осложнения. Я умру. И я, и ребенок. Когда он попытался возразить, она повторила:

— Нет, если мы останемся здесь, мы умрем. Я чувствую. Вот увидишь. — Но, взглянув на его лицо, Оливия постаралась взять себя в руки и улыбнуться. Она подняла руку и погладила его по щеке. — Но ты же хочешь остаться.

Он сказал уверенно:

— Просто здесь тебе все в новинку. Нам, старожилам, легко, потому что нам известно, чего можно ожидать, а тебе нет, бедняжка моя. — Он

поцеловал жену, приникшую к его груди. — Знаешь, я именно об этом говорил с Бет Кроуфорд. Нет, милая, Бет вовсе не такая, она просто молодчина. Она догадывалась, как трудно тебе будет, еще до твоего приезда. И, знаешь, что она сказала теперь? Сказала, что уверена, с твоей чуткостью и умом — вот видишь, ты ей очень по душе, — ты со всем справишься. Что ты — это ее слова — проникнешься к Индии тем же чувством, что и все мы. Оливия? Ты спишь, дорогая?

Она не спала, но ей нравилось вместе с ним лежать, припав к его груди, под москитной сеткой. Луна взошла над персиковым деревом, и свет лился в открытое окно. Когда Дуглас решил, что она заснула, он обнял ее крепче и едва не заплакал, переполненный счастьем от того, что может обнимать ее, залитую лунным сиянием Индии.

На следующий день Оливия отправилась навестить миссис Сондерс. Она принесла цветы, фрукты и свое сердце, полное жалости. И хотя чувства ее к миссис Сондерс изменились, сама миссис Сондерс была такой же, как всегда, — той же непривлекательной женщиной, лежавшей на кровати в своем мрачном доме. Оливии, чувствительной к обстановке, пришлось преодолеть чувство неприязни. Она терпеть не могла

неопрятные дома, а дом миссис Сондерс, как и ее слуги, был очень запущен. Никто не потрудился поставить красивые цветы Оливии в вазу, а может, вазы и не существовало? В доме вообще почти ничего не было, только уродливая мебель, да и та вся в пыли.

Оливия села у постели миссис Сондерс и слушала, как та рассказывала о своей болезни, о чем-то, связанном с маткой. После смерти ребенка она так и не поправилась, то было единственное упоминание о ребенке, все остальное — о последствиях заболевания миссис Сондерс. Пока она говорила, Оливии пришла в голову нехорошая мысль: Сондерсы — никто бы, конечно, прямо так не сказал — не те люди, которые обычно приезжают служить в Индии. Оливия не отличалась снобизмом, но обладала эстетическим чувством, а подробности болезни, о которых ей поведала миссис Сондерс, вовсе не были эстетичны; да и акцент миссис Сондерс — неужели никто не замечал? — не принадлежал человеку образованному…

Это недостойно, совершенно недостойно, отругала себя Оливия, но тут же испытала потрясение: миссис Сондерс громко вскрикнула. Обернувшись, Оливия увидела, что один из не

опрятных слуг вошел, не сняв грязной обуви. Именно обувь так расстроила его хозяйку, ибо это было неуважительно с его стороны, Дуглас ни за что не позволил бы ничего подобного у них дома. Но Оливию потрясла и испугала реакция миссис Сондерс. Она села в постели и начала кричать, как безумная, и обозвала слугу грязным словом. Тот перепугался и убежал. Миссис Сондерс обессиленно уронила голову на подушку, но вспышка гнева еще не погасла. Казалось, ей хотелось объясниться или, возможно, оправдаться; она, наверное, стыдилась ругательства, которое у нее вырвалось. Она сказала, что слуги просто черти и кого угодно могут свести с ума, и вовсе не по глупости, наоборот, они прекрасно соображают, когда им это нужно, но все делается назло, чтобы мучить хозяев. Она приводила примеры их воровства, пьянства и других дурных привычек. Она рассказала о грязи, в которой они живут на своей половине, а чего же ожидать, грязь везде, повсюду в городе, на улицах и базарах, а видела ли Оливия их безбожные храмы? Миссис Сондерс застонала и закрыла лицо руками, а затем Оливия заметила, что слезы сочатся у нее сквозь пальцы и грудь содрогается от тяжелых рыданий. Она выдавила: «Я просила его снова и снова, я гово-

рила: Уилли, пожалуйста, давай уедем». Оливия провела рукой по подушке миссис Сондерс и прослезилась от жалости к той, что так несчастна.

Какое же облегчение было после этого оказаться в компании умной и живой Бет Кроуфорд! Та приехала пригласить Оливию в Хатм — навестить мать Наваба. Оливия была счастлива снова побывать во дворце, хотя их сразу же провели в женские покои. Эти комнаты тоже были очень элегантны, хотя и в явно восточном стиле, с низкими диванами, обтянутыми роскошной тканью, и зеркальцами в эмалевых рамках. В центре комнаты стояли три хороших европейских стула: для миссис Кроуфорд, Оливии и самой бегум[4]. Там были еще какие-то пожилые дамы, устроившиеся на расставленных по всей комнате низких диванах. Дамы помоложе, в воздушных шелках, порхали вокруг и подавали щербет и прохладительные напитки, снимая их с целой вереницы подносов, с которыми сновали слуги.

Оливии оставалось только сидеть на краешке стула. Участвовать в беседе она не могла, так как не знала ни слова на урду. Бегум попыталась

---

[4] Примечания: 4

Бегу́м, также бегюм, — титул знатной женщины и обращение к ней в мусульманских странах и районах Южной Азии.

немного поговорить с ней по-английски, но тут же засмеялась над своим произношением. Ей было около пятидесяти, и она была бы красивой женщиной, если бы не крупная бородавка на щеке. Она курила сигареты в мундштуке одну за другой. Держалась бегум очень просто и не скрывала того, что сидеть на стуле ей очень неудобно. Она ерзала и поджимала под себя то одну, то другую ногу. Оливия всегда любила беседовать полулежа и с удовольствием сидела бы на полу, но вряд ли позволил бы этикет.

Миссис Кроуфорд сидела на своем стуле совершенно прямо, обтянутые чулками колени были плотно сдвинуты, а руки в белых перчатках сложены поверх сумочки. В комнате она была главной фигурой, именно от нее зависел успех визита. И она не уклонялась от возложенной на нее обязанности. Она говорила на урду — придворном языке, — если не бегло, то, во всяком случае, уверенно, и была готова обсуждать все что угодно с другими дамами. Не вызывало сомнений — она пришла подготовившись, так как с легкостью переходила от одной темы к другой, стоило беседе иссякнуть. Бегум на стуле и дамы на полу, похоже, были довольны, они то и дело смеялись и хлопали в ладоши. Явно опытные,

придворные дамы и миссис Кроуфорд прекрасно играли свои роли. Только Оливия, новенькая, не могла участвовать в разговоре, да и внимание ее было, в основном, приковано к двери — она думала о том, присоединится ли к ним принц Наваб. Но этого не произошло. В точно выбранный момент миссис Кроуфорд поднялась, вызвав возгласы очень точно отмеренного разочарования, и после некоторых возражений дамы вежливо уступили и проводили гостей на приличествующее расстояние до двери. Оливия прошептала: «Не нужно ли нам навестить и Наваба?» — но миссис Кроуфорд твердо сказала: «В этом нет никакой необходимости». И пошла вперед уверенной походкой человека, выполнившего свой долг, а Оливия побрела за ней, глядя по сторонам и, наверное, любуясь цветами принца, которые и в самом деле были великолепны.

После этого визита они поехали к Миннизам, чей дом находился чуть дальше за пределами Хатма. Миссис Минниз сидела за мольбертом, но тут же вскочила, чтобы их поприветствовать. Она отпустила позирующего ей терпеливого старого крестьянина и, сняв рабочий халат, по-детски отбросила его в сторону. Миссис Кроуфорд в компании подруги тоже превратилась в школьницу.

Она шутливо закатила глаза, рассказывая, где они были, и миссис Минниз сказала: «Ты в самом деле молодец, Бет». — «Да не так уж плохо все прошло, — бодро сказала та и повернулась к Оливии. — Ведь так?» — стараясь вовлечь Оливию в разговор.

Оливия и впрямь чувствовала себя лишней, как и во дворце. Миссис Кроуфорд и миссис Минниз были старыми подругами, обе они жили в Индии уже много лет и были несокрушимо жизнерадостны. Наверняка им хотелось расслабиться и поболтать друг с другом, но вместо этого все свое внимание они обратили на Оливию. Дали ей множество советов, как устанавливать особые ширмы от зноя и как распорядиться, чтобы ее крепдешиновые блузки, которые ни в коем случае нельзя давать в руки мужчине-прачке, стирала айя[5]. Оливия старалась слушать с интересом, но безуспешно, и в первый же подходящий момент задала волновавший ее вопрос. Она спросила: «А разве принц Наваб не женат?»

Наступила пауза. Дамы даже не обменялись взглядами, и Оливия поняла, что это им и не нужно было, так как на этот счет они пребывали

---

[5] Примечания: 5
Айя — няня, служанка.

в полном согласии. Наконец, миссис Кроуфорд ответила:

— Женат, но его жена с ним не живет. — Это был прямой ответ человека, не желающего приукрашивать события. — Она нездорова, — добавила миссис Кроуфорд, — душевнобольная.

— Ой, Бет, слушай! — внезапно воскликнула миссис Минниз. — Мне ответили из Симлы. Коттедж «Жимолость» все-таки свободен в этом году, ну, разве не чудесно?.. А у вас, Оливия, есть планы на лето?

Миссис Кроуфорд ответила за нее:

— Дуглас интересовался, чем мы будем заниматься.

— Ну, в «Жимолости» у нас всегда найдется уголок для Оливии. Особенно теперь, когда Артур, скорее всего, не сможет…

— Ох, Мэри!

— Еще конечно есть надежда, но, видно, не получится. Но я точно еду, — сказала она. — Я пока толком не писала вид с Проспект-хилл, и в этом году обязательно должна. Что бы там ни натворил Наваб.

— Наваб? — спросила Оливия.

После паузы миссис Минниз сказала миссис Кроуфорд:

— Кое-что произошло. Теперь он, похоже, и в самом деле замешан.

— Бандитизм? Мэри, как ужасно. Да еще сейчас.

— Ничего не поделаешь, — сказала миссис Минниз с давно отработанной бодростью. — Полагаю, теперь мы уже привыкли. Или, по крайней мере, должны привыкнуть. Три года назад было то же самое. Наш приятель всегда выбирает момент, когда у Артура подходит время отпуска. Это превратилось в обыкновение.

— А что случилось три года назад? — спросила Оливия.

Помолчав, миссис Кроуфорд ответила неохотно, словно допуская, что у Оливии есть право знать:

— Тогда была вся эта суматоха из-за его развалившегося брака. — Она вздохнула, ибо предмет разговора казался ей неприятным. — Мэри знает об этом больше, чем я.

— Ненамного больше, — сказала миссис Минниз. — Никогда не знаешь, что *именно* происходит… — Ей не хотелось больше говорить на эту тему, но она считала, что Оливия вправе знать. — Артур, бедняжка, увяз во всем этом по самые уши вместе с полковником Моррисом, своим колле-

гой в Кабобпуре — владениях семьи Сэнди. Сэнди — это жена Наваба.

Ее все так называют, хотя по-настоящему ее зовут Захира.

— Если бы не Артур и полковник Моррис, — сказала миссис Кроуфорд, — могло быть гораздо хуже. В Кабобпуре все были просто в ярости из-за Наваба.

— Но почему? — спросила Оливия. — То есть я хочу сказать, он же не виноват, что она душевнобольная…

Снова помолчав, миссис Кроуфорд сказала:

— Вот Мэри и говорит, никогда не знаешь, что именно там происходит. У них даже по поводу возвращения приданого был разговор, все было ужасно утомительно… Оливия, — добавила она, — вы же присоединитесь к нам в Симле, не так ли?

Оливия нервно вертела тонкий браслет на своем тонком запястье.

— Мы с Дугласом это обсуждали.

— Да, и ему очень бы хотелось, чтобы вы поехали. — Миссис Кроуфорд посмотрела на Оливию, и было что-то в ее взгляде прямое и твердое, напомнившее Оливии самого Дугласа.

— Мне бы не хотелось оставлять его одно-

го, — сказала Оливия. — Четыре месяца — целая вечность. — Она добавила застенчиво, снова играя браслетом: — Мы не так давно… вместе. — Она хотела сказать «женаты», но «вместе» звучало лучше.

Ее собеседницы переглянулись и рассмеялись. Миссис Кроуфорд сказала:

— Мы, наверное, кажемся вам старыми клушами.

— Но даже эта стойкая старая клуша, — сказала миссис Минниз, — совсем скиснет, если Артур не сможет поехать.

— А почему не сможет? — спросила Оливия.

— Вы нам нужны, Оливия, — сказала миссис Кроуфорд. — Жить в Симле без вас будет очень тоскливо.

— И потом, — подхватила миссис Минниз, — кто будет следовать за нами по аллеям? Кто будет навещать нас в «Жимолости»?

— Только другие старые клуши.

Они одновременно разразились громким смехом — как школьницы.

Оливия понимала, что на самом деле им будет гораздо веселее степенно заниматься привычными делами пожилых дам, получая удовольствие от компании друг друга без нее. И говорили они

все это только *ради нее.*

Она спросила, поедет ли миссис Сондерс.

— Нет, Джоан не ездит в Симлу. Хотя ей очень бы пошло на пользу выбраться из этого *дома*… Да и вам тоже, Оливия, — добавила миссис Кроуфорд и вновь бросила на нее Дугласов взгляд.

— Но почему же майор Минниз не может поехать? Раз уж у него отпуск…

Казалось, они не расслышали. Снова началось обсуждение планов, в основном, каких слуг брать с собой, а каких оставить приглядывать за бедными саибами, остающимися потеть на работе.

Оливия получила желанную информацию из другого источника. Одним скучным утром (она уже и пианино забросила) ее навестили. Это был Гарри, которого привез на автомобиле шофер Наваба. Гарри заявил, что просто обязан был приехать и освежиться в «Оазисе» (так он теперь называл ее дом). А она, увидев его, почувствовала, что именно он, пухлый и непривлекательный, стал оазисом для нее. Гарри остался на целый день и, пока был тут, рассказал обо всем, что ей так хотелось узнать.

О жене Наваба он сказал:

— Бедная Сэнди. Бедняжка. Ей было не справиться со всем этим. С *ним.*

— С кем? — Оливия наполнила его рюмку; они пили херес, Гарри быстро взглянул на нее, затем опустил глаза:

— Он очень сильный человек. Мужественный и сильный Если уж он чего-то хочет, ему ничто не помешает. Никогда. Он стал принцем в пятнадцать лет (его отец внезапно умер от удара). Вот он и правил всегда, всегда был во главе, — и вздохнул восхищенно и в то же время тяжело. — Кабобпуры не хотели, чтобы она выходила за него, — сказал он. — Они гораздо более влиятельные правители, в их кругах с ним и считаться бы не стали, ни титула толком нет, ни, по их меркам, состояния.

— А кажется он богатым, — сказала Оливия.

— Я с ним в Лондоне познакомился, — сказал Гарри. — Они в «Клариджe» остановились, Наваб с собой взял всех, кто был ему по душе, и слуг, например, Шафта, который ему коктейли смешивает. И Кабобпуры там тоже были, этажом ниже: они *своих* людей привезли. А через неделю в Париж уехали, так как Сэнди уж очень им увлеклась. Как будто от него убежать можно. На следующий день он тоже был в Париже. Мне он сказал: «Поезжай с нами, Гарри». Я ему понравился, знаете ли.

— И вы поехали?

Гарри прикрыл глаза:

— Я же говорю, такому человеку, как он, не отказывают… Кстати, Оливия, то есть миссис Ривер. Можно называть вас Оливия? Мне кажется, мы друзья. С некоторыми людьми можно почувствовать себя друзьями, согласны? Если они вам близки… Оливия, он хочет устроить вечеринку.

Наступила пауза. Оливия налила себе еще хереса.

— Он настаивает, чтобы именно вы приехали. Конечно, будет автомобиль.

— Дуглас ужасно занят.

— Он хочет, чтобы вы оба приехали. Ужасно хочет. Странно, правда: казалось бы, у него должна быть масса друзей, но нет.

— Ну, *вы* же у него есть.

Оливия уже спрашивала у Дугласа, какую именно роль во дворце Наваба играл Гарри. Что-то официальное, вроде секретаря? Дуглас отвечал неохотно и, когда она настояла, сказал: «Вокруг таких, как Наваб, вечно толкутся какие-то…»

Гарри перешел на доверительный тон, казалось, он был рад говорить свободно:

— Я очень хочу сделать все, что в моих силах, чтобы порадовать его. Господи, да я и стараюсь

изо всех сил. Не только потому, что он мне очень нравится, но ведь он невероятно добр ко мне. Вы и представления не имеете о его щедрости, Оливия. Он хочет, чтобы у его друзей было все. Все, что он только может дать. Такая уж натура. Если не берешь, его это очень ранит. Но сколько же можно брать? Я уж и так чувствую себя… В конце концов, я здесь потому, что он мне очень по душе, и ни по какой иной причине. Все, что он может, это давать. Дарить. — В его лице и голосе слышалась тоска.

— Но ведь это значит, что и вы ему по душе.

— Кто знает? С ним никогда не поймешь. Сначала вроде думаешь: да, ты ему не безразличен, а потом кажется, ты… просто вещь. Я с ним уже три года. Три года в Хатме, представляете? Я даже Тадж-Махала не видел. Мы вечно собираемся куда-то съездить, но в последний момент что-то обязательно происходит. Обычно бегум нас не пускает. Знаете, иногда я думаю, единственный человек на этой земле, который ему не безразличен, — это она. Он не переносит разлуки с ней. Ну, естественно, она его мать… Я свою мать уже три года не видел. Я беспокоюсь о ней, она болеет. Живет одна в квартирке в Кенсингтоне. Она, конечно, хочет, чтобы я домой приехал. Но стоит

мне об этом заикнуться, он тут же высылает ей какой-нибудь дорогой подарок. Однажды она ему написала. Поблагодарила, но сказала, мол, лучший подарок, который вы могли бы мне прислать, — это мой Гарри. Он был очень растроган.

— Но не отпустил?

Гарри искоса взглянул на нее. Молча кусал губы. Затем сказал натянуто и немного обиженно:

— Надеюсь, вы не подумали, будто я жалуюсь.

Наступил вечер, день медленно увядал. Оливия подала обед, к которому Гарри едва притронулся, — как оказалось, он страдал несварением. В комнате стало жарко и влажно, но открывать ставни было еще рано. Херес был теплым и липким, как и запах цветов, которыми Оливия наполнила все вазы (она жить не могла без цветов). Теперь ей хотелось, чтобы Гарри уехал. Ей хотелось, чтобы этот день закончился, и наступила ночь с прохладным ветром, и чтобы Дуглас сидел за своим письменным столом, строгий и серьезный, со своими бесконечными бумагами.

Дуглас говорил на хиндустани очень бегло. Приходилось, так как он постоянно имел дело с индусами и его обязанностью было улаживать огромное количество здешних дел. Вся его деятельность протекала в конторе, в судах или на

местах, поэтому Оливии редко доводилось видеть его за работой, но время от времени (обычно по праздникам) некоторые из местных богачей приходили с визитом вежливости. Они усаживались на веранде с дарами для саиба — обычно корзинами и подносами со свежими и засахаренными фруктами и фисташками. Выглядели они все одинаково: толстяки, блестевшие от масла и драгоценностей, в безупречно-белых свободных муслиновых одеждах. Когда Дуглас выходил поприветствовать их, они жеманно улыбались, соединяли ладони на груди и, казалось, были настолько потрясены той честью, которую он им оказывал, что едва могли вымолвить слова благодарности.

Оливия слушала беседы, которые доносились снаружи. Голос Дугласа, твердый и мужественный, заметно выделялся. Когда он говорил, остальные переходили на одобрительное бормотание. Иногда он, должно быть, шутил, ибо они то и дело начинали вежливо смеяться в унисон. Иногда он говорил строже, чем обычно, и тогда бормотание робко затихало до следующей шутки, после чего они с облегчением разражались смехом. Впечатление было такое, что Дуглас играет на духовом инструменте, клапаны которого

идеально ему подчиняются. Он знал и точный момент подхода к финалу — слышалось шарканье, и завершающий хор благодарности был таким искренним, таким сердечным, что некоторые голоса прерывались от волнения.

Дуглас вернулся с улыбкой. Похоже, ему всегда нравились эти встречи. «Вот жулики», — сказал он, качая головой в добродушном удивлении.

Оливия сидела за пяльцами. Она недавно увлеклась вышиванием, ее первой работой была затканная цветочным узором накидка для ножной скамеечки. Дуглас сел в кресло напротив и произнес:

— Можно подумать, я не догадываюсь, что у них на уме.

— И что же это? — спросила Оливия.

— Уж эти мне вечные шуточки. Не одно, так другое. Думают, что очень хитры, но на самом же деле — просто дети. — Он улыбнулся и постучал трубкой по медной каминной решетке.

— Вот как? — строго переспросила Оливия.

— Прости, дорогая, — он решил, что ее недовольство вызвано трубкой и рассыпанным пеплом, — Дуглас начинал курить, причем не слишком умело, — но оказался не прав. Она сказала:

— А мне они показались вполне взрослыми.

— Еще бы, — засмеялся он. — Обманчивое впечатление. Стоит раскусить их (а уж это они всегда чувствуют), и с ними можно неплохо ладить. Главное, не дать обвести себя вокруг пальца. Все это довольно забавно.

Он посмотрел на ее золотистую головку и изгиб белой шеи. Он любил, когда она вот так сидела напротив него за вышиванием. На ней было что-то мягкое, в бежевых тонах. Он не очень хорошо разбирался в женских нарядах и знал только, что ему нравилось, а что нет, и вот это ему нравилось.

— На тебе что-то новое? — спросил он.

— Боже, дорогой, я это сто лет ношу… А почему они смеялись? Что ты им сказал?

— Я им сказал, не прямо, конечно, что они шайка жуликов.

— И это им нравится?

— Если сказать на хиндустани, то да.

— Мне *обязательно* нужно выучить язык!

— Да, обязательно, — сказал Дуглас без энтузиазма. — Это единственный язык, на котором можно нанести смертельное оскорбление абсолютно изысканным способом. Речь не о тебе, конечно. — Эта мысль его рассмешила. — Вот

было бы для них потрясение!

— Отчего же? Миссис Кроуфорд говорит на хиндустани, да и миссис Минниз тоже.

— Да, но не с мужчинами. И потом, они никого не оскорбляют. Это исключительно мужское занятие.

— Как и все остальное, — сказала Оливия.

Он пососал трубку, причмокивая от удовольствия, что заставило ее резко вскрикнуть:

— Прекрати, пожалуйста! — Дуглас вынул трубку изо рта и с удивлением уставился на Оливию. — Я не выношу, когда ты так делаешь, — объяснила она.

Хотя он не совсем понял, почему, но заметил, что Оливия расстроена, и отложил трубку.

— Мне и самому не нравится, — откровенно признался он. Они помолчали.

Оливия перестала шить и смотрела в пространство, нижняя губа у нее обиженно оттопырилась.

— Будет легче, когда ты переедешь в горы. Это просто жара тебя донимает, милая, — сказал он.

— Знаю, что жара… А ты когда сможешь приехать?

— Обо мне не волнуйся, это о тебе мы должны позаботиться. Я говорил с Бет сегодня. Они плани-

руют уехать семнадцатого, и я спросил, не будут ли они так любезны зарезервировать и для тебя спальное место на то же число. Это ночной поезд из Калки, но, честное слово, он не так уж плох. — Дуглас был так доволен, что все устроил, ему и в голову не приходило, что она может отнестись к этому по-другому. — Еще четыре часа в горы, но что за путешествие! Тебе очень понравится. Пейзаж, не говоря уже о смене климата…

— Не думаешь же ты, что я поеду без тебя!

— Ну, там будут Бет Кроуфорд и Мэри Минниз. Они о тебе позаботятся. — Взглянув на ее лицо, он добавил: — Но это же глупо, Оливия. Моя мать по четыре месяца в году проводила вдали от отца, год за годом. С апреля по сентябрь. Ей тоже это не нравилось, но когда работаешь в округе, то ничего нельзя сделать.

— Я *никуда* не поеду, — сказала Оливия, выпрямившись и глядя ему в лицо. А затем добавила: — Принц Наваб хочет пригласить нас в гости.

— Очень мило с его стороны, — сухо сказал Дуглас. Он снова взял трубку, чтобы выколотить ее о каминную решетку.

— Да, мило, — сказала Оливия. — Он специально прислал Гарри, чтобы передать приглашение. Не каждый день августейшие особы устраивают

приемы для младших офицеров.

— Верно, но я подозреваю, что старшие офицеры нагоняют на него такую же тоску, как и на всех нас.

— На *нас*?

— На *меня.*

Она все еще смотрела прямо на него, но уже смягчилась: смотрела не с боязнью, а с любовью, потому что и он так глядел на нее. Она всегда любила его глаза. Их взгляд был совершенно чист и неколебим — взгляд мальчика, который читал книги о приключениях и следует вычитанным в них законам храбрости и чести.

— Почему мы ссоримся? — спросила она.

Он на мгновение задумался и резонно ответил:

— Потому что этот климат приводит тебя в раздражение. Это совершенно естественно, со всеми так бывает. А дома сидеть без дела еще хуже. Поэтому я и хочу, чтобы ты поехала. — Через секунду он добавил: — Ты же не думаешь, что мне это по душе?

Тут уж она совершенно расклеилась, и только его сильные руки могли поддержать ее. Пусть, сказала она, пусть ей будет скучно и жарко, и они будут ссориться, пусть! Но только, пожалуйста, не надо отправлять ее в эту поездку одну.

Наваб сказал: «Дом без гостей — несчастливый дом». И хотя эта фраза, наверное, звучала естественней на урду, Оливия поняла, что он имел в виду, и была польщена и смущена одновременно.

— Вот и я, — заявил Наваб и широко раскинул руки, показывая, что он тут и душой и телом.

Он прибыл, как и прежде, с целой свитой. Только на этот раз отказался остаться, нет, теперь его очередь, он не мог более злоупотреблять ее гостеприимством. Это смутило ее еще больше, ибо как же было объяснить ему, почему она отказывается от его приглашения? Но, как человек, понимающий все с полуслова, он повернул дело так, что ей не пришлось ничего объяснять. Сказал, что проделал весь этот путь, чтобы пригласить ее прокатиться на автомобиле и, возможно, если ей будет так угодно, устроить небольшой пикник где-нибудь в тени. Нет, он не может принять никаких отговорок. Вся поездка займет лишь полчаса, пятнадцать минут, и пусть это приглашение будет символическим жестом — он умоляет позволить ему: он должен загладить вину. Он объяснил это так, словно пострадали замысловатые законы индусской чести и, возможно, в самом деле пострадали — откуда ей

было знать? А ведь ей *так* хотелось поехать!

Он прибыл на двух автомобилях: «роллс-ройсе» и «альфа-ромео». Все молодые люди, приехавшие с ним, набились в «альфа-ромео», а он сам, Оливия и Гарри уселись в «роллс-ройс». Гарри сидел впереди рядом с шофером. Они миновали дома Кроуфордов и Сондерсов, церковь и кладбище. Затем выбрались на открытое место. Они ехали и ехали. Наваб в свободной позе устроился рядом с ней на жемчужно-сером сиденье, положив одну ногу на другую и беспечно вытянув одну руку вдоль спинки. Он не вымолвил ни слова, только курил несчетное количество сигарет. Местность, которую они пересекали, расстилалась под палящим солнцем. Она блестела, как стекло, и, казалось, ей не было конца. В какой-то момент Наваб дотянулся через Оливию до окна и опустил шторку, словно защищая свою гостью от вида этой выжженной земли. Но теперь это были его владения: они покинули Сатипур и ехали по его Хатму. Никто не сказал, куда они направляются, и Оливии казалось глупым спрашивать. Молчание Наваба ее беспокоило. Было ли это скукой или плохим настроением? Но в этом случае, зачем он так настаивал на поездке? И теперь, согласившись, она чувствовала себя целиком в его власти

и должна была подчиняться любому его капризу. Платье прилипло сзади к ногам, и она волновалась, что, когда настанет время выходить из автомобиля, оно будет все в складках оттого, что она сидела на нем, и будет ужасно выглядеть.

Машина свернула с дороги на узкую колею. Здесь ехать было труднее: их трясло и кидало туда-сюда, Оливия отчаянно вцепилась в ремень, боясь, что ее швырнет прямо на Наваба. Эта мысль ее очень пугала по самым разным причинам. Через некоторое время ехать стало невозможно, и всем пришлось выбраться из машины и идти пешком. Тропа становилась уже и уже, взбегая все выше по холму. Наваб так и не произнес ни слова и лишь иногда придерживал рукой ветки, чтобы Оливии было легче идти. Но она все равно оцарапалась колючками, ее кусали какие-то насекомые, соломенная шляпа съехала набок, и ей было жарко до слез. Оглянувшись, она увидела Гарри, пыхтевшего сзади, ему тоже было не до смеха. Остальные следовали на почтительном расстоянии. Наваб в белоснежных брюках и кремовых с белым туфлях возглавлял процессию.

Он отодвинул ветви ежевики и пропустил Оливию вперед. Они прибыли в тенистую рощицу, в

центре которой находился маленький каменный храм. Здесь было прохладно и зелено; где-то даже журчала вода. К тому же их уже ждала целая команда дворцовых слуг, которые приготовили место для отдыха. Землю устилали ковры и подушки, на которые Оливию пригласили присесть. Наваб и Гарри присоединились к ней, а молодых людей отослали развлекаться самостоятельно. Слуги суетились, распаковывая корзины с едой и охлаждая бутылки вина.

Теперь Наваб снова пустил в ход свое обаяние. Он принес извинения за путешествие:

— Вам было очень неприятно? Да, должно быть, это ужасно, наш отвратительный индийский климат! Очень, очень прошу простить меня за неудобства.

— Здесь просто чудесно, — сказала Оливия с облегчением, и не только потому, что ей было не так жарко и стало гораздо приятнее, но и потому, что он снова был мил с ней.

— Это место совершенно особенное, — сказал Наваб. — Погодите, я вам расскажу, только сперва нужно привести его в чувство, вы только посмотрите, — он указал на Гарри, который шлепнулся на ковер, вытянув руки и часто дыша от изнеможения. Наваб рассмеялся. — В каком же он

состоянии? Очень слабый человек. Это потому, я думаю, что он такой полный. Ненастоящий англичанин. Я вам больше скажу: *никуда* не годный англичанин. — Он рассмеялся своей шутке, блеснув глазами и зубами, но, тем не менее, заботливо подсунул подушку Гарри под голову. Тот застонал, не открывая глаз: «Боже, я сейчас умру».

— Зачем же умирать? Неужели это красивое место, священное для моих предков, убивает вас? Или дело в нашем обществе? — Он улыбнулся Оливии и спросил: — Вам здесь нравится? Вы не возражаете, что я привез вас сюда? Жаль, что мистер Риверс не мог с нами поехать. Но я думаю, мистер Риверс очень занят. — Кончиком языка он быстро облизнул губы, а затем так же быстро посмотрел на Оливию. — Мистер Риверс — настоящий англичанин, — сказал он.

— Да уж, он вам нравится, — сказал Гарри лежа ничком.

— Спите, Гарри! Мы беседуем не с вами, а друг с другом… Полагаю, мистер Риверс учился в частной школе? Итон или Рагби? К сожалению, мне не довелось. Если у меня будет сын, я его туда отправлю. Как вы думаете? Очень хорошее образование необходимо, как и строгая дисциплина. Гарри там, конечно, не нравилось, он говорит,

это было просто… Как вы тогда сказали, Гарри?

— Варварство, — с чувством сказал Гарри.

— Чепуха какая! Только для таких, как вы, потому что вы никуда не годитесь. Давайте попробуем сделать его более пригодным, что скажете миссис Риверс? — сказал он, снова улыбаясь ей. Он подозвал молодых людей, которые по его команде накинулись на Гарри: один массировал ему ноги, другой — шею, третий щекотал пятки. Всем, включая Гарри, похоже, нравилась эта игра. Наваб со снисходительной улыбкой наблюдал за ними, но, когда заметил, что Оливия чувствует себя лишней, повернулся к ней и снова превратился в того хозяина, каким был на званом ужине: внимательным, любезным и учтивым, так что она снова почувствовала себя единственной важной гостьей.

Он пригласил ее взглянуть на место поклонения. То была маленькая и очень простая беленая конструкция, увенчанная полосатым куполом. К решетчатым окнам молящиеся привязали обрывки красной нити — для исполнения желаний. На небольшом возвышении, одиноко стоявшем в центре храма, лежали некогда сплетенные в гирлянду и теперь увядшие цветы. Наваб объяснил, что храм был построен его предком в благодар-

ность Баба́ Фирдаушу, который жил в этом месте. Баба Фирдауш был набожным человеком, проводившим все время в молитвах и ни с кем не делившим своего одиночества. Предок Наваба, Аманулла Хан, был разбойником, который разъезжал со своей бандой по всей стране, ища с кем бы подраться — с могулами, афганцами, маратхами или индусами. Его долгая карьера состояла из взлетов и падений. Однажды он укрывался в этой самой роще, все его люди были убиты, а сам он чудом спасся, хотя был тяжело ранен. Баба Фирдауш спрятал его от преследователей, ухаживал за ним и выходил. Спустя годы, когда удача снова улыбнулась ему, Аманулла Хан вернулся, но к тому времени здесь уже никого не было и никто не знал, что приключилось с Баба, жив он или мертв. Поэтому все, что оставалось Аманулле — это построить храм в память о святом.

— Он не забывал ни друзей, ни врагов, — сказал Наваб, имея в виду своего предка. — Если следовало с кем-то рассчитаться — за добро ли, за зло ли, — он не забывал. Он был лишь грубый солдат, но прямой и честный. И отличный воин. Британцам он очень нравился. Вам ведь всегда такие люди нравятся? — он вопросительно взглянул на Оливию. Она рассмеялась — странно, что ей дано

право говорить за всех британцев. И он улыбнулся. — Да, вам нравятся люди, которые хорошо дерутся и ездят верхом. Лошади вам больше всего нравятся. А остальные люди не очень?

— Какие такие остальные? — спросила Оливия смеясь.

— Я, например, — ответил он, тоже смеясь. Но затем посерьезнел и сказал: — Но вы совершенно не такая. Думаю, вам лошади не нравятся? Нет. Пожалуйста, идите сюда, я вам кое-что покажу.

Он вывел ее из храма. Из расщелины между камнями бил маленький свежий источник. Его журчанием и птичьим пением была наполнена рощица. Наваб присел и, намочив пальцы в воде, предложил Оливии сделать то же самое.

— Холодная какая. Всегда холодная. Люди думают, что этот маленький источник с холодной водой здесь, посреди пустыни, — чудо. Откуда он? Одни говорят — все это благодаря Баба Фирдаушу, его святой жизни, другие говорят, что это Аманулла Хан отплатил за добро. Думаете, такое возможно? И это и впрямь чудо?

Они были совсем рядом. Он внимательно смотрел на нее, а она смотрела на свои руки в воде. Вода была свежая и текла очень быстро, но источник был таким мелким, что она просто стекала

по пальцам.

— Возможно, это очень маленькое чудо, — сказала Оливия.

Тогда он шлепнул себя по колену и громко рассмеялся:

— Миссис Риверс, у вас хорошее чувство юмора! — Он поднялся и заботливо протянул ей руку, но она обошлась без его помощи. — Знаете, — снова серьезно сказал он, — как только я вас впервые увидел, я знал, что вы окажетесь такой. Сказать вам кое-что? Это очень странно: мне кажется, я вам могу сказать все что угодно, и вы поймете. Очень редко испытываешь такое чувство по отношению к другому человеку. Но с вами у меня получается. И вот еще что: я не верю в чудеса, вовсе нет. У меня слишком научные взгляды для этого. Но я верю, что некоторые вещи *возможны,* даже если это и чудеса. А вы не думаете, что они возможны? Вот видите, я так и знал. Вы гораздо больше похожи на меня, чем… чем, скажем, миссис Кроуфорд. — Он засмеялся и Оливия тоже. Он посмотрел ей в глаза. — Вы совсем не такая, как миссис Кроуфорд, — сказал он, все еще глядя на нее, но тут же понял, что смущает ее, и перестал смотреть. Осторожно, едва касаясь локтя, Наваб отвел Оливию назад, туда, где сидели остальные.

Теперь он был в отличном настроении, и началось веселье. Слуги распаковали корзины, и священная роща наполнилась запахом жареных цыплят, перепелок и консервированных креветок. Молодые люди были очень оживлены и развлекали всех, то разыгрывая друг друга, то исполняя песни и стихи на урду. Один из них привез с собой что-то вроде лютни и извлекал из нее сладостно-горькие ноты. Лютня пригодилась и для игры в «музыкальные стулья», сделанные из уложенных в ряд подушек. Так получилось, то ли случайно, то ли нет, что Наваб и Оливия оказались последними игроками. Очень медленно они кружили вокруг одной оставшейся подушки, не сводя глаз друг с друга, каждый был начеку и следил за противником. Все смотрели на них, играла лютня. На мгновение ей показалось, что из вежливости он даст ей выиграть, но, услышав на мгновение раньше нее, что музыка прекратилась, он вдруг бросился на последнюю подушку. И выиграл! Наваб громко рассмеялся и торжествующе вскинул руки. Он в самом деле был чрезвычайно доволен.

8 марта. Именно с этого дня Оливия начала писать Марсии. Она и раньше ей писала, но не часто и не очень подробно. Только с того самого

пикника Оливия словно стала искать утешения в признаниях другому человеку.

Она так и не рассказала Дугласу о пикнике с Навабом. Она собиралась, как только приехала домой, но его задержали дела (кого-то зарезали на базаре), и он вернулся домой гораздо позже обычного. Оливия задавала ему огромное количество вопросов, а Дуглас любил говорить о работе (хотя ей не всегда было так уж интересно слушать), и время пролетело, а Оливия так и не успела рассказать, как прошел день. А утром, когда Дуглас уехал, она еще спала. Поэтому вместо разговора с ним Оливия написала первое из своих длинных писем Марсии. Интересно было бы знать, что подумала Марсия: жила она тогда во Франции (она была замужем за французом, но они расстались) одна, переезжая из гостиницы в гостиницу, и водилась с довольно темными личностями. Жизнь Оливии в Индии, наверное, казалась ей странной и далекой.

Я разложила письма Оливии на своем столике и работаю над ними и над этим дневником все утро. Мой обычный день в Сатипуре теперь подчиняется твердому распорядку. Начинается он рано, потому что городок рано просыпается. Сначала звонят колокола в храме (я слушаю их лежа

в постели), а затем в чайном киоске напротив разводят огонь и ставят чайник. В эти утренние часы воздух свежий, а небо нежное и бледное. Все кажется гармоничным, как звон колоколов. Я отправляюсь на базар — купить немного творога и свежих овощей, а после готовки сажусь, скрестив ноги, на пол и принимаюсь за свои бумаги.

Ближе к вечеру я иногда хожу на почту, которая занимает комнату, где некогда завтракала Оливия. Если в конторах время подходит к закрытию, я иду к дому Кроуфордов и жду, когда Индер Лал освободится. Оба здания (и Кроуфордов, и Оливии), когда-то такие разные внутри, теперь заставлены одинаково ветхой офисной мебелью, а на стенах видны одинаковые красные пятна от бетелевой жвачки. Сады при домах тоже совершенно одинаковы, то есть это и не сады больше, а небольшие площадки, где служащие собираются под немногими оставшимися тенистыми деревьями. Торговцам здесь разрешается продавать арахис и сладкий горошек. Видны целые ряды велосипедных стоек — в каждую втиснут велосипед.

Индер Лал поначалу чувствовал себя очень неловко, когда видел, что я его жду. Возможно, ему было даже немного стыдно, когда нас видели

вместе. Мы и правда были странной парой: я намного выше и шагаю широко, забывая, как ему трудно поспеть за мной. Но теперь он ко мне привык, и не исключено, что ему приятно быть на виду у всех с английской подругой. Я даже думаю, что мое общество ему нравится. Сначала он был рад ему, потому что мог поупражняться в английском (хорошая, говорил, возможность), но теперь ему нравятся и сами беседы. Мне — точно нравятся. Он очень откровенен и часто говорит об очень личном: не только о жизни, но и том, что у него на душе. Он поведал мне, что есть еще один человек, с которым он может говорить свободно, — его мать, но даже с ней не обо всем поговоришь, не то, что с другом.

Однажды я спросила:

— А как же ваша жена?

Он сказал, что она не очень умна. И образования у нее особенного нет (его мать не хотела, чтобы он женился на образованной девушке; по ее словам, от *таких* одни неприятности). Риту выбрали потому, что она была из подходящей семьи, а также из-за светлой кожи. Его мать говорила, что она хорошенькая, но сам он так и не решил: иногда ему казалось, что хорошенькая, иногда — нет. Наверное, она была красивой в юности, но

теперь стала худой и измотанной, и лицо у нее, как и у Индера Лала, всегда выражало тревогу.

По его словам, в первые годы брака Риту так тосковала по дому, что плакала не переставая.

— Это очень подорвало ее здоровье, — сказал он, — особенно когда она была в положении. Мы с матерью пытались объяснить ей, как важно хорошо питаться и быть в добром расположении духа, но она не понимала. Естественно, здоровье ее пострадало и ребенок родился слабеньким. Это она виновата. Умный человек бы понял и принял меры.

Он нахмурился, у него был грустный вид. К тому времени мы добрались до озера. (Оливия не пошла бы дальше, так как здесь начиналась индийская часть города: толчея переулков и базара, где я сейчас и живу.)

Индер Лал рассуждал:

— Разве мог бы я с ней говорить, как с вами? Нет, не мог бы. Она бы ничего не поняла. — И добавил: — И здоровье у нее все еще очень слабое.

В озере купались мальчишки и, похоже, веселились вовсю. Мы видели, как пенилась вода, когда они подпрыгивали и брызгались. Индер Лал с тоской наблюдал за ними. Возможно, ему хотелось стать одним их них, а может быть, он

вспоминал летние вечера, когда сам ходил купаться с друзьями.

Вряд ли это было очень давно — он еще молод, немного моложе меня, ему лет двадцать пять-двадцать шесть. Если присмотреться, то видно, что лицо у него совсем юное, его старит только постоянно озабоченное выражение. Когда мы впервые познакомилась, он казался обычным индийским служащим, смиренным и отягощенным всевозможными заботами. Но теперь я вижу, что это вовсе не так — может быть, только снаружи, а внутри он жаждет жизни и стремится ко множеству недоступных вещей. В основном, это видно по его глазам, которые полны печали и влажны от тоски.

10 марта. Я много занимаюсь языком и уже начала разговаривать с людьми, что дает огромное преимущество. Жаль, что я не могу как следует побеседовать с Риту, женой Индера Лала: она так застенчива, что даже мой улучшившийся хинди не помогает. Хотя я и сама такая же, и с ней пытаюсь преодолеть свою робость. Я решила, что должна сделать первый шаг, так как я старше и, думаю, сильнее. В Риту есть что-то хрупкое, *безвольное.* Она очень худа, браслеты скользят вверх и вниз по ее тонким рукам, но слаба она

не только физически, мне кажется, что она и внутренне беспомощна: не отличается силой воли, такие быстро уступают. Иногда Риту пытается преодолеть робость и приходит ко мне в гости; но, хотя я изо всех сил стараюсь говорить с ней на своем невозможном хинди, она быстро вскакивает и убегает. То же происходит, когда я навещаю ее — я не раз видела, как она, завидя меня, прячется в уборной и, хотя там не очень чисто (девочка-уборщица плохо справляется со своими обязанностями), сидит там, пока я не уйду.

Дни — как и ночи — становятся все жарче. Внутри спать неприятно, и ночью все вытаскивают постели на воздух. Город превратился в огромное общежитие. Койки стоят перед киосками, на крышах, во дворах — везде, где только можно найти свободное место. Я продолжала спать дома, так как стеснялась спать у всех на виду. Но стало так жарко, что и я вытащила свою кровать во двор и устроилась рядом с семейством Индера Лала. Семья продавца из магазина внизу тоже спит тут во дворе, и прислуживающий им мальчик, и какие-то другие незнакомые люди. Так что нас целая толпа. В ночную рубашку я больше не переодеваюсь, а сплю, как индийская женщина, в сари.

Поражает ночная тишина. Когда индусы спят, то спят в полном смысле слова. Ни для взрослых, ни для детей времени отхода ко сну не существует: когда они устают, то просто падают, не раздеваясь, на постель или прямо на землю, если постели нет, и не шевелятся до следующего утра. Слышно только, как кто-то плачет во сне или как собаки (а может, шакалы) лают на луну. Я часами лежу без сна, но спать мне не дает ощущение счастья. Никогда прежде не знала я такой близости к людям. Лежишь вот так под открытым небом, и кажется, будто ты растворяешься в пространстве — но не в пустоте, ибо вокруг спят все эти люди, весь город, и я — часть всего этого. Совсем не так, как в моей зачастую очень одинокой комнатке в Лондоне, где можно только на стены глядеть да книги читать.

Недавно ночью послышался странный звук, в первую секунду я никак не прореагировала, только лежала и *слушала*: пронзительный высокий вопль. Какой-то нечеловеческий звук. Но, тем не менее, принадлежал он человеку. Когда я села в постели, мать Индера Лала уже была рядом с Риту и зажимала ей рот рукой. Та сопротивлялась, но мать была сильнее. Больше никто не пошевелился, и мать держала ее из последних сил. Я

помогла отвести Риту в дом, а когда зажгла свет, то увидела ее глаза, широко раскрытые от ужаса глаза над ладонью матери, все еще зажимающей ей рот. Когда странные звуки совсем стихли, мать выпустила Риту, и та мгновенно сползла на пол и так и осталась там лежать, сжавшись в комочек и зарывшись лицом в колени. Теперь она совершенно смолкла, и лишь ее маленькое тело то и дело по-птичьи вздрагивало. Мать подошла к полкам, где хранился рис, и высыпала пригоршню Риту на голову. Рис отскакивал от волос, а несколько зернышек запутались в них. Она не пошевелилась. Мать сначала сжала, а затем разжала ладонь и круговым движением поводила ею над головой девушки, хрустнув суставами и бормоча какие-то заклинания. Довольно скоро Риту поднялась со следами слез на изможденном лице, но в остальном выглядела совершенно нормально. Втроем мы снова вышли наружу и легли рядом с другими; никто не пошевелился. На следующий день ни та ни другая и словом не обмолвились об этом происшествии, казалось, его и вовсе не было, если не считать зерен риса в волосах Риту.

20 марта. После той ночи мы с матерью стали ближе — мы подружились. Теперь она часто

ходит со мной на базар и стращает продавца, если тот не дает мне самые лучшие овощи. Она следит, чтобы все продавали мне товар по верной цене. Я теперь гораздо лучше понимаю ее хинди, а она — мой, хотя он до сих пор ее смешит. Но разговор поддерживает она, мне же нравится ее слушать, особенно когда она рассказывает о себе. Мне кажется, что, хоть она и овдовела, теперь наступили лучшие годы ее жизни. О замужней жизни она невысокого мнения. По ее словам, первые годы самые тяжелые — из-за тоски, из-за того, что думаешь только об отчем доме; трудно привыкнуть к новой семье и правилам, установленным свекровью. Она редко говорит о своем умершем муже, и я думаю, он не представлял собой ничего особенного. Но у нее очень близкие отношения с сыном, именно она, а не Риту ухаживает за ним, подает еду и выкладывает утром его одежду. Она очень гордится тем, что Индер Лал служит в конторе, а не сидит где-нибудь в магазине, как его отец (бакалейщик). Это большое продвижение в жизни и для сына, и для нее тоже. И уж когда она идет по городу, то стесняться ей нечего. Вдове около пятидесяти лет, но она сильна, здорова и по-женски бодра. В отличие от Риту, она не сидит весь день дома, а

часто ходит куда-нибудь с подругами, которые в большинстве своем такие же энергичные вдовы, как она. Они свободно перемещаются по улицам и не обращают внимания, если их сари сползает с головы или даже с груди. Сплетничают, шутят и хихикают, как девочки-школьницы, и совершенно непохожи на своих невесток, которые иногда тихонько следуют позади, полностью закрытые чадрой, с опущенными глазами, словно у заключенных под конвоем.

С тех пор как мы подружились, мать Индера Лала приглашает меня порой прогуляться. Она представила меня всем своим друзьям, включая и вдову, главенствующую в этой компании, — женщину, которую все зовут Маджи (Матушка), хотя она немногим их старше. Говорят, у Маджи какие-то особые способности, и, хотя я не знаю, в чем они заключаются, она производит впечатление человека, обладающего чем-то большим, чем остальные, даже если это всего лишь больший напор или энергия. Их у нее хоть отбавляй. Живет она очень просто — в маленькой хижине под деревом. Это чудесный уголок между озером, где купаются мальчишки, и старыми королевскими усыпальницами. Когда меня привели к ней, мы все забрались в хижину и сидели там на

земляном полу. Мне очень нравилось проводить время с вдовами, они были такими веселыми и дружелюбными, и, хотя я не могла участвовать в разговоре, я много улыбалась и кивала. Затем они принялись за песнопения (Маджи с переполнявшим ее энтузиазмом вела хор), я попыталась присоединиться к пению, и это им, похоже, понравилось.

После этого мать сводила меня к храмам сати. Мы прошли на другой конец базара, дальше через проход, ведущий из города, затем по пыльной дороге не то к бассейну, не то к водохранилищу у обочины. Здесь она показала мне несколько маленьких алтарей под деревьями: сооруженьица были не больше булыжников, хотя на некоторых красовались небольшие купола. На камне были тонко выцарапаны примитивные изображения: по всей видимости, муж с верной женой — она сжигает себя на костре вместе с его телом. Они произвели на меня жуткое впечатление, но моя спутница набожно сложила руки. Один алтарь она украсила ниткой роз и ноготков, которые принесла с собой, и рассказала, как по определенным дням они с подругами приходят сюда со сластями, молоком и цветами и поклоняются этим вдовам, которые принесли высшую жертву.

В голосе ее слышалось глубокое преклонение — она искренне почитала этот древний обычай. И даже жалела — эта веселая вдова! — что ему больше не следуют (обычай был запрещен в 1829 году). Она показала место поклонения последней сати, о которой мне, конечно, тоже было известно, так как это самосожжение произошло, когда здесь жила Оливия. Несмотря на то что этот алтарь был возведен в 1923-м, на вид он так же стар, как и остальные.

1923

Это произошло, когда мистер Кроуфорд был в отъезде и округ остался на попечении Дугласа. Умер купец, торгующий зерном, и родственники принудили его жену к самосожжению на погребальном костре. Хотя Дуглас примчался на место происшествия, как только до него дошла весть об этом, женщину спасать было поздно. Все, что он смог сделать, — это арестовать главных зачинщиков: ее сыновей, зятьев и священнослужителя. Дугласа все хвалили за то, как спокойно и уверенно он взял ситуацию в свои руки. Даже Наваб демонстративно поздравил его, хотя *его* поздравления Дуглас принял довольно холодно. Но Наваб не обратил на это внимания, а если и

обратил, то задет не был.

Оливия так и не рассказала Дугласу ни о пикнике с Навабом, ни о его последующих визитах; а приезжал он теперь почти через день или два, обычно со всем своим окружением. Не то чтобы ей не хотелось говорить об этом Дугласу, — конечно, хотелось! — но он приезжал домой так поздно и его мысли были настолько заняты собственными делами, что ей никак не удавалось найти подходящий момент. Правда, однажды Наваб задержался до прихода Дугласа. Должно быть, он специально так все задумал, потому что в тот день он оставил всех молодых людей из своей свиты дома. Если Оливия и волновалась по поводу этой встречи, то напрасно, ибо Наваб повел себя безупречно. Он вскочил на ноги при появлении Дугласа и протянул ему руку с сердечным английским приветствием. Словно это был его дом, а он — хозяин, чьим долгом было устроить все так, чтобы Дуглас чувствовал себя желанным гостем. Он сказал, что приехал, чтобы поздравить Дугласа с быстрым разрешением сложной ситуации. Когда же Дуглас холодно и неодобрительно ответил, что сожалеет о том, что опоздал и появился только к концу визита, Наваб сочувственно пожал плечами.

— Что поделаешь, мистер Риверс. Эти люди ничему не учатся. Что бы мы ни делали, они не расстанутся со своими варварскими традициями. Но как же вас все хвалят, мистер Риверс! Все как один одобряют ваши действия во время этого несчастья.

— Вы не вполне осведомлены, — сказал Дуглас. — Ходят всякие пересуды. Похоже, мои заключенные — родственники этой несчастной женщины — в глазах некоторых людей и сами выглядят жертвами. Сегодня у тюрьмы даже небольшие беспорядки начались. — Он быстро и внимательно взглянул на Оливию. — Но не стоит волноваться. Мы легко со всем этим справимся.

— Конечно, не стоит, миссис Риверс! — присоединился и Наваб. — Где мистер Риверс, там контроль и решительные действия. Так и должно быть. Самим этим людям нипочем не справиться. Все должны благодарить вас, мистер Риверс, за твердую руку, — сказал он, глядя на Дугласа, как соперник, и, видимо, не замечая, что Дуглас смотрит на него совсем иначе.

Как только мистер Кроуфорд вернулся из поездки, он устроил званый ужин, где главной темой для разговора была все та же сати. Дугласа снова очень хвалили. И хотя ему было нелов-

ко (он яростно ковырял ломтик поджаренного хлеба), он испытывал гордость, так как высоко ценил свое начальство, и ему было важно мнение старших по званию. Кроме Дугласа и Оливии, присутствовала чета Миннизов и доктор Сондерс (миссис Сондерс была нездорова и не смогла прийти). В общем, все те же люди, так как других английских офицеров в округе не было. И еда была такой же: пресной и водянистой, какую Кроуфорды, наверное, привыкли есть дома, вот только их повар-индус ухитрился сделать ее еще более водянистой, чем обычно. Подавалась же она с шиком: слугами в чалмах и широких поясах. Такими же великолепными были тарелки и серебро: они перешли к миссис Кроуфорд от бабушки, которая привезла их из Калькутты с аукциона, устроенного по случаю разорения какого-то банкира.

Обсудив историю о сати, гости принялись вспоминать предыдущие случаи такого же рода. Случаи не столько из личного опыта, сколько из огромного хранилища воспоминаний, уходивших в прошлое на несколько поколений и, скорее всего, более интересных тем, кто и сам пережил нечто подобное. Кроме Оливии, единственный человек за этим столом, кто не мог поделиться

схожими воспоминаниями, был доктор Сондерс. Он сосредоточился на ужине, но время от времени издавал вымученные восклицания. Остальные же рассказывали свои истории, не имея в виду никакого морального подтекста, хотя говорить им приходилось о совершенно жутких вещах. При этом они не только хранили полное спокойствие, но даже слегка улыбались, терпеливо и тепло, с удовольствием, которое Оливия уже научилась отлично распознавать: как хорошие родители, они все любили Индию, что бы она ни натворила.

— Нельзя забывать, — сказал майор Минниз, — что в иных случаях жены *хотели*, чтобы их сожгли вместе с мужьями.

— Ни за что не поверю! — это уже доктор Сондерс.

— Не думаю, что эта ваша сати так уж рвалась на костер, — мистер Кроуфорд подмигнул Дугласу.

— Вы правы, — сказал Дуглас, сдерживаясь.

Оливия посмотрела на него и сказала:

— Откуда ты знаешь? — Это прозвучало как вызов, но то и был вызов. Дуглас почти ничего не рассказывал ей о самосожжении, желая избавить ее от подробностей (а они были ужасны; до конца

своих дней не забудет он криков женщины). Но Оливия терпеть не могла оставаться в стороне. — Это же часть их религии, разве нет? Я думала, что вмешиваться не принято. — Теперь она смотрела в суп, а не на Дугласа, но упрямо продолжала: — А если не принимать в расчет религию, такова их культура, да и кто мы такие, чтобы совать нос в чью-либо культуру, тем более в столь древнюю?

— Культура! — воскликнул доктор Сондерс. — Вы, верно, разговаривали с этим пройдохой Хоршамом! — Оливия не подозревала, что ее речь напоминала слова члена парламента, который проезжал через округ в прошлом году и восстановил всех против себя.

Однако только доктор Сондерс и Дуглас были недовольны Оливией. Остальные великодушно обсудили ее точку зрения, словно сказанное можно было принять всерьез. Они говорили о святости религиозных обрядов, даже приняли во внимание возможность добровольного самосожжения, но заключили, что в конце концов это все-таки самоубийство, и довольно чудовищное.

— Я понимаю, — сказала несчастная Оливия. У нее не было ни малейшего желания убеждать всех в разумности сожжения вдов, но от того, что все были так уверены в своей правоте (терпели-

во улыбались, но были *уверены),* ей захотелось спорить дальше.

— Но теоретически это же довольно благородный жест. Теоретически, — умоляюще сказала она, не смея взглянуть на Дугласа; она знала, что он сидит очень прямо, плотно сжав тонкие губы и холодно глядя на нее. Она отчаянно стояла на своем. — Я говорю о желании покинуть этот мир вместе с самым важным для вас человеком. О нежелании жить, если его больше нет.

— Это варварство, — заявил доктор Сондерс. — Как и все остальное в этой стране, дикость и варварство. Я такого навидался в больнице, не хочется рассказывать, особенно при дамах. Чудовищно изуродованные тела, и всё, не будем забывать, ради религии. Если это религия, то — черт возьми! — сказал он так громко, что главный старик-слуга с выкрашенной хной бородой задрожал с головы до ног, — я бы с гордостью назвался атеистом.

Но майор Минниз — возможно, из любезности — принял сторону Оливии, рассказав историю, которая частично подтверждала ее точку зрения. Произошло это не с ним самим, а сто лет назад с полковником Слиманом, когда тот был начальником округа в Джабалпуре. Слиман пытался

предотвратить самосожжение, но вынужден был отступить из-за упорства вдовы, вознамерившейся исчезнуть вместе с мужем.

— Вот это в самом деле было добровольное самосожжение, — сказал Оливии майор Минниз. — Сыновья и остальные родственники вместе с полковником Слиманом попытались остановить ее, но ничего не вышло. Она не сдавалась. Четыре дня просидела на камне в реке и сказала, что если ей не позволят сжечь себя, то она начнет голодовку. Так или иначе, в живых она не останется. В конце концов, Слиману пришлось сдаться (эту битву он проиграл), но говорил он об этой старой даме с уважением. Она не была религиозной фанатичкой, даже не очень театрально себя вела, просто сидела себе тихо, ждала и не отступалась — хотела уйти вместе с мужем. Что-то благородное в этом было, — сказал майор, но в его голосе уже не слышалось терпения и насмешки — ни в малейшей степени.

— По мне, так уж слишком благородное, — сказала Бет Кроуфорд. Будучи хозяйкой, она решила, что настало время сменить тон. — И хотя я очень люблю тебя, дорогой мой, — сказала она мужу, сидящему напротив, — не думаю, что я смогла бы…

— А я смогла бы! — воскликнула Оливия так ис-

кренне, что все замолчали и посмотрели на нее. И Дуглас (на этот раз она осмелилась поднять на него глаза, даже если он и сердился на нее). — Я бы захотела. То есть я бы не хотела жить дальше. Я бы только *благодарна* была за такой обычай.

Они встретились глазами. Она увидела, что его твердый взгляд постепенно тает от нежности. И сама она ощутила такую же нежность. Ее чувства были столь сильны, что она не могла больше смотреть ему в глаза. Она опустила взгляд в стоявшую перед ней тарелку и покорно начала резать ножом жесткий кусок курицы в мучном соусе, который пришел на смену жесткому куску жареной рыбы, и думала о том, что все можно с легкостью вынести и со всем можно справиться, если только они с Дугласом будут испытывать такое друг к другу.

30 марта. Сегодня мне нужно было зайти на почту, так что после я, как обычно, подождала Индера Лала, чтобы идти домой вместе. Мы уже дошли до самых королевских усыпальниц (у озера и хижины Маджи), как вдруг услышали доносившиеся из них странные, напоминающие стоны звуки. Индер Лал сказал, что лучше бы нам идти домой. Но когда мы достигли следующей усыпальницы (их там было несколько, все при-

надлежали какой-то семье, жившей в XIV веке), мы услышали тот же звук позади нас. Это совершенно точно был стон. Несмотря на протесты моего спутника, я вернулась посмотреть, в чем дело. Вниз вели ступени; как правило, у таких строений не бывает стен, все закрыто арками и решетками, так что внутри обычно очень темно. Сначала можно было разглядеть только неясное нагромождение саркофагов в центре, но стоило звуку повториться, и я заметила какую-то фигуру, забившуюся в самый угол. Это был человек, одетый во что-то оранжевое. Я подошла ближе (тут снаружи раздался предостерегающий крик Индера Лала) и наклонилась, чтобы разглядеть стонущего. Это был белый садху, Чид, с которым я однажды познакомилась у дома отдыха для путешественников.

При нем были все его пожитки: узел, зонт, четки и плошка для сбора подаяний; они валялись на полу вокруг того места, где он лежал, прислонившись к решетчатому проему в стене. На газете каменели кусочки булки. Он сказал, что не знает, как долго находится здесь: иногда было темно, а иногда — совсем темно. Из дома путешественников Чида выгнали после того, как его спутники поехали дальше. Он попытался

продолжить свое паломничество, но, заболев в пути, кое-как добрался до Сатипура. Сказал, что все еще очень болен. Лежит здесь один, и никто его не беспокоит, потому что никто не обнаружил, кроме бродячей собаки, которая однажды обнюхала его и снова ушла.

Индер Лал, стоя в проеме на безопасном расстоянии, предупредил меня:

— Только осторожно.

— Ничего страшного, я его знаю. — Лоб у Чида на ощупь был горячий.

Он простонал, что ему хочется пить и есть. При этих словах Чид сильно хлопнул себя по животу, как заправский индийский попрошайка, чтобы все слышали гулкий звук.

Индер Лал осторожно приблизился и стал разглядывать Чида.

— Почему он так одет? — спросил он.

— Он — садху[6], — объяснила я.

— Как он может быть садху?

— Он изучал религию хинди.

В усыпальнице было ужасно, стоял едкий запах

---

[6] Примечания: 6

Садху — так в индуизме и индийской культуре называют аскетов, святых и йогинов, более не стремящихся к осуществлению трех целей жизни индуизма: камы (чувственных наслаждений), артхи (материального развития) и даже дхармы (долга).

летучих мышей, да и Чид, похоже, пользовался помещением для удовлетворения естественных надобностей. Я раздумывала, что с ним делать, здесь оставить его нельзя, но куда девать?

— И что же он изучал? — спросил Индер Лал: ему стало очень интересно. — Что вы изучали? — поинтересовался он. — Вы знакомы с Пуранами[7]? С Брахманами[8]?

Чид этих вопросов не слышал; смотрел на меня умоляющим, горящим взором.

— Вы живете неподалеку? — спросил он. — Если *совсем* рядом, то я дойду.

Мне не хотелось поддаваться, но Индер Лал, похоже, вдруг загорелся идеей забрать Чида с нами домой.

10 апреля. Хотя Чид через несколько дней поправился, уходить он никуда не собирался. Полагаю, что после всех скитаний по Индии в моей комнате он чувствует, что обрел тихую гавань и может отдохнуть. Мне же стало не до отдыха.

---

[7] Примечания: 7

Пура́ны — тексты древнеиндийской литературы на санскрите, в которых описывается история вселенной от ее сотворения до разрушения, генеалогия царей, героев идевов, а также излагается индуистская философия и космология.

[8] Примечания: 8

Брахманы — священные писания индуизма, содержащие комментарии к Ведам.

Пришлось убрать и запереть все бумаги (и письма Оливии, и дневник) не потому, что я не хочу, чтобы он их читал, а потому, что он все переворошил, разбросал и захватал грязными пальцами. Эти отпечатки теперь у меня по всей комнате. Он перебирает мои вещи совершенно открыто и берет все, что ему требуется. Он даже объяснил мне, что не верит в материализм и что людям очень вредно привязываться к вещам. Вообще-то ему много не надо — ест все, что я готовлю, и доволен всем, что ему дают. Он проводит много времени, гуляя по городу, и к нему все так привыкли, что даже детвора за ним больше не бегает. Некоторые продавцы разрешают ему посидеть в их киосках, и иногда, сидя на скрещенных ногах и излагая свою философию, он собирает целую толпу.

Считается, что, поселив его у себя в комнате, я заполучила какое-то преимущество. Будто теперь мне представилась великолепная возможность возвыситься в глазах окружающих, прислуживая святому. Вопрос о том, является ли Чид святым, может, и остается открытым, но, по мнению города, он сделал многообещающий первый шаг, побрив голову и выбросив одежду. За это они готовы принять на веру любые его речи. Я часто видела, как то же самое происходило со святыми

индусами, следовавшими через город, в одеяниях цвета охры, с четками и плошками для подаяний. В большинстве своем мне они казались отпетыми мошенниками (находившимися под действием наркотиков или снедаемыми похотью), и у всех до единого на лицах отпечатались хитрость и жадность. Но когда они идут через город, полураздетые, а иные и совсем раздетые, стуча посохами и выкрикивая имя Господне, как продавцы, расхваливающие свой товар, люди выбегают из дому, наполняя подношениями с готовностью подставленные плошки. У Чида тоже есть такая, и туда частенько что-нибудь кладут (банан или гуаву), и он съедает это в одиночестве в углу моей комнаты, оставляя кожуру на полу. Когда я требую, чтобы он убрал за собой, он тихо подчиняется.

На Индера Лала Чид произвел сильное впечатление. Когда он приходит из конторы домой, то взбирается наверх, в мою комнату, и часами сидит там, слушая Чида. Тот рассказывает ему о центрах энергии в организме и способах ее освобождения. Сейчас он указывает на свой череп, а затем изгибается, чтобы достать им до крестца, потом размахивает руками, словно притягивая духов. Мне это уже порядком надоело. Мне ка-

жется, что Чид, не будучи ни очень умным, ни очень образованным, поднабрался ошметками религиозных знаний, и теперь они как бы перебродили в нем и вырываются наружу в виде довольно-таки бредовых речей. А может, он и правда немного не в себе.

Я так ничего о нем и не знаю. Иногда он рассказывает о себе, но истории его всегда противоречивы, и их невозможно связать воедино. Поскольку они, в основном, касаются его духовной жизни, то скорее абстрактны — в них нет ничего личного. Индер Лал уверяет меня, что это не страшно, ибо у Чида нет собственного прошлого. Когда человек становится индуистским аскетом, то вся его прошлая жизнь, или, скорее, *его жизни*, все, о чем бы он ни думал, что бы ни сделал и чем бы ни был, сгорает. В прямом смысле, на погребальном костре, куда отправляются даже сбритые волосы. Чид прошел через этот обряд, поэтому теперь, по словам Индера Лала, он лишь индуистский садху и ничего более. Нудный мидландский акцент, правда, остался, отчего все, что говорит Чид, звучит еще более нелепо.

Он вечно голоден, но ему хочется не только еды. Ему хочется секса, и он считает само собой разумеющимся, что я должна удовлетворить и эту его

потребность — как голод. Никогда я так сильно не ощущала, что меня используют. При этом он признает, что именно этим и занимается — использует меня для достижения высшей ступени сознания посредством сил соития, в котором мы сливаемся. Ума не приложу, почему я позволяю ему это. Я крупнее и сильнее его, и с легкостью могу от него отбиться. Но мне кажется, что и правда существует некое излучение, исходящее не от него самого, а от окружающих его сил. Сам он какой-то бесполый: щеки гладкие, если не считать редких пучков белесых волос, и ужасно тощий, словно мальчик, перенесший тяжелую болезнь. Но его постоянные эрекции чудовищны, они служат мне напоминанием о Шиве, чьему огромному члену поклоняются богобоязненные индусские женщины. В такие моменты, когда Чид сидит на полу у меня в комнате и бубнит свои мантры с четками в руке, может показаться, что его половые инстинкты рождены духовными упражнениями.

15 апреля. Хорошим примером того, до чего в Индии все перепутано, является история о храме Баба Фирдауша. Как объяснил Оливии Наваб, храм был изначально построен его предком Аманулой Ханом в знак благодарности мусуль-

манскому кудеснику, который его приютил. Место стало священным для индусских женщин, ибо приношения в этом храме излечивают от бесплодия. Но священен этот храм лишь раз в году. Толкуют это на разные лады. Одни верят, что однажды бездетную женщину увезли из дома мужа, чтобы он смог снова жениться. В день его новой свадьбы она пришла к храму Баба Фирдауша, чтобы спрятать свой стыд и горе в могиле святого. Здесь ей было видение, что через девять месяцев у нее родится ребенок. Так и случилось. День празднования называется Пад ки Шади или День мужней свадьбы. Но, как я уже говорила, есть и другие, противоречивые и отличающиеся одно от другого, толкования.

Вчера был День мужней свадьбы, и мы с Индером Лалом, его матерью и ее друзьями посетили место паломничества. Ехали мы в автобусе, битком набитом женщинами, направляющимися туда же. Большинство из них были в летах, и целью их паломничества, как и у нас, была приятная прогулка. Все взяли с собой еду и весело делились ею. Некоторые привезли бесплодных невесток, но те держались тихо и оставались на заднем плане. Риту, у которой детей хватало, оставили дома.

Мне уже давно хотелось посетить могилу Баба Фирдауша, но вчера взглянуть на нее не удалось. Совсем не таким представляла я себе место, где Наваб обожал устраивать пикники! Теперь здесь весело шумела маленькая ярмарка с шаткими каруселями, Деревянным колесом обозрения и лотками с покрытой мухами едой. Из громкоговорителя, привязанного к дереву, гремели религиозные песни. Самого места поклонения не было видно: перед ним собралась плотная толпа людей, все пытались пробиться поближе. Мы присоединились к ним и стали проталкиваться в том же направлении. Когда мы, наконец, достигли его, вспотев, как от битвы, в голове была лишь одна мысль: как можно скорее стать частью происходящего. Что именно происходило, я так и не поняла. Сидевший на полу священник принимал подаяния. Некоторые женщины — в основном старые, которые не могли получить соответствующее этому месту благословение, — погрузились в религиозный транс и выкрикивали имя Господне, словно пребывали в отчаянии. Некоторые пытались пасть ниц, но не могли из-за нехватки места. Было неясно, что именно нужно делать, но, похоже, достаточно было просто находиться там.

Наша маленькая компания нашла свободное

место под де? ревом, где мы и уселись в кружок и принялись есть и пить, чем беспрерывно занимались с того самого момента, как уехали из дому. У одной из старух была заготовлена история о молодой женщине, которой требовалась операция на фаллопиевых трубах, но вместо этого свекровь привезла ее сюда, после чего женщина забеременела. (Вообще-то история закончилась плохо: на мужа этой женщины навела порчу другая женщина, что побудило его выжить из дому жену и неродившегося младенца.) Историй было множество, мне нравилось их слушать и сидеть с друзьями среди этого праздничного пейзажа. Я чувствовала, что стала частью происходящего, что я поглощена им, так же как и молящейся толпой, набившейся в храм.

Друзья обратились ко мне: «Ну, а как же ты? О чем молилась?» Они дразнили меня и смеялись. Я сказала, что нахожусь не в том храме, — для начала меня нужно привести туда, где молятся о мужьях, а не о детях. Это их еще больше развеселило, но на самом деле они были совершенно серьезны (тут это серьезная тема), да и меня одолевали необычные мысли.

1923

День мужниной свадьбы всегда доставлял майору Миннизу много хлопот. Поскольку храм Баба Фирдауша находился во владениях Наваба, майор Минниз только и мог, что давать советы. Чем он все больше и занимался с приближением этого дня. Уколы Наваба его совершенно не смущали, хотя тот смеялся над ним и говорил: «Мой дорогой майор, конечно, конечно, как скажете, но что вы так волнуетесь?». Однако майор беспокоился не понапрасну.

В те дни в Хатме жило большое количество мусульман (после 47 года их либо убили, либо они подались в Пакистан). Наваб и сам был мусульманином, как и половина его подданных. Многим из них не понравилось, что место поклонения перешло к индуистам, им всегда удавалось устроить беспорядки в этот день. Волнения не всегда происходили в самом храме; две противоборствующие группировки могли столкнуться на базаре из-за какой-нибудь мелочи, вроде игорного долга, но очень быстро страсти достигали той точки кипения, до которого доходят только религиозные распри. Мешало и то, что лето только начинало погружаться в зной (позже, когда с

каждым днем прибывала жара, все ощущали, что слишком истощены для сильных чувств). С приближением праздника ситуация становилась все более взрывчатой, и майор неустанно повторял, как важна бдительность, а Наваб добродушно посмеивался в ответ.

Как и следовало ожидать, в первое лето Оливии День мужниной свадьбы ознаменовался беспорядками в Хатме. Оливия, правда, мало о чем подозревала за ставнями своего домика на Гражданских линиях, но и туда, в желтую гостиную, где она играла Шумана, проникло беспокойство. Все окна и двери пришлось плотно затворить, так как снаружи бушевала пыльная буря. Ей никак не удавалось надолго сосредоточиться на Шумане. Она все думала о Дугласе: как он ни старался не показывать своего волнения, она знала, что он давно испытывает беспокойство. Сатипур граничил с Хатмом, и местные возмущения распространялись, как лесной пожар. Слуги тоже не могли найти себе места, участились ссоры, а один слуга напился и подрался с другим из-за женщины.

Поздним утром миссис Кроуфорд и миссис Минниз пришли навестить Оливию. Они хотели ее подбодрить. Сказали, что в Сатипуре, где

мистер Кроуфорд и Дуглас приняли все меры предосторожности, тревожиться не приходится. *Здесь* в самом деле господствовала бдительность; если бы только такие же меры были приняты в Хатме, где майор Минниз умолял Наваба и взывал к нему…

— Но в прошлом году было то же самое, — сказала миссис Минниз. — Артур его предупреждал, говорил ему не раз и не два… В результате двенадцать убитых и семьдесят пять раненых. Весь вещевой рынок был разгромлен, спустя неделю он еще дымился, я сама видела. Артур думает, что в этом году будет хуже.

— Это преступление, — с чувством сказала миссис Кроуфорд. — Он ведь с легкостью мог бы держать все в руках, если бы захотел…

— Наваб? — спросила Оливия. — Ну да, если б захотел!

— Не забывайте, что он мусульманин, — ответили ей.

— Да, но не *такой.* Не фанатик. Боже ты мой, — она даже засмеялась от этой мысли. Но лица ее собеседниц оставались мрачными. Она настаивала: — Он такой современный. Да ведь в этом отношении он почти как один из нас. Я хочу сказать, он вовсе не суеверен или узколоб, вовсе

нет. Он совершенно раскрепощен.

— Вы и впрямь так считаете? — ровным голосом спросила миссис Кроуфорд.

— Ну конечно. Я же слышала, что он говорил о самосожжениях, прямо как англичанин. Он был возмущен, говорил, что это варварство.

— Конечно, говорил, ничего удивительного. Сати — индуистский обряд. Совсем другое дело, если б это был ислам. Совсем другое.

Оливия им не поверила. Нет, возражать или спорить с ними она не стала — в этом-то и была загвоздка, она никогда не могла ничего сказать, у нее права не было, ибо они знали об Индии все, а она ничего. Но Наваба она знала *лучше* их. Для них он всего лишь человек, с которым они иногда имели дело на официальном уровне — индийский правитель, но ей, ей он… да, друг. Настоящий друг.

Она думала, что ей станет лучше, когда они уйдут, но на самом деле ей все равно было очень тревожно. Это они виноваты, пришли, наговорили всяких ужасов, да еще о Навабе. Она беспокойно ходила по своей гостиной, нервно поправляя цветы в вазах (в это время года цвели только сильно пахнущий миндалем олеандр и жасмин, одурявший, как наркотик). Шуман

никак ей не давался, и она захлопнула крышку пианино. Начала было писать Марсии, но та была в Париже, да и *объяснить* что-либо в письмах было невозможно.

Снаружи послышался шум подъехавшего автомобиля. Наваб! Ее сердце забилось неизвестным ей чувством. Оливия открыла дверь, ведущую на веранду, и увидела слуг; они сидели в кружок, сдвинув головы. При виде ее они быстро поднялись. Пыль мгновенно набилась в глаза, ноздри, между зубами и клубами ворвалась в комнату.

— Это я! — крикнул кто-то из машины. Это был Гарри, а не Наваб.

Он поспешил за ней внутрь, и дверь снова быстро закрыли. Но за эти несколько мгновений песок пустыни толстым слоем покрыл ее пианино и желтый шелк ее кресел.

— Вы один? — спросила она.

Гарри кивнул. Казалось, он был очень доволен тем, что приехал, и сидел, откинув назад голову и прикрыв глаза.

— Я должен был приехать, — сказал он. — Уж очень стало…

Он замолчал, когда вошли двое слуг. Они принялись рьяно выбивать мебель. Гарри и Оливия молчали, дожидаясь, пока слуги уйдут. К тому

времени Гарри вроде передумал продолжать начатую фразу и принял легкомысленный тон:

— Я просто зажарился, мне нужен был Оазис.

— Что происходит в Хатме? — Он не ответил и снова прикрыл глаза. Она продолжала: — Я слышала, там какие-то беспорядки? В чем дело? Ну, говорите же! Вы обязаны мне рассказать!

Помолчав, он ответил с видимым раздражением:

— Откуда мне знать? Я же во дворце живу, а там ничего подобного не происходит.

— Чего подобного?

— Откуда мне знать, — повторил он. — Я у себя в комнате просидел весь вчерашний день и все сегодняшнее утро. Чем еще заняться в такую убийственную, чудовищную жару? Вы за окно смотрели? Видели, *что* творится? Стоит этим песчаным бурям начаться, и не видно им ни конца, ни края. Неудивительно, что все с ума посходили, — он надолго замолчал, словно боясь сказать лишнее, но вскоре снова заговорил, и очень быстро: — Я и сам чуть не помешался. Сидя взаперти и думая обо всем, что происходит. Не спрашивайте, что именно! Я не знаю. В прошлом году было то же самое, и в позапрошлом. Но теперь, слава Богу, мне было куда уйти. Когда я попросил автомо-

биль, он сказал: «Конечно-конечно, дружище». Хотя он был занят по горло, он все равно нашел для меня время и обо всем подумал. Даже шоферу объяснил, как лучше ехать, чтобы ни с кем не столкнуться. Мы и не столкнулись. С базара только какие-то крики доносились, но это ведь могло быть что угодно. Когда я спросил его, безопасно ли ехать на машине, он сказал: «Это на моей-то машине?» Он подумал, что я здорово пошутил. Оливия, сыграйте что-нибудь. Что хотите.

Она села за пианино и, когда начала играть Шумана, Гарри сказал: «Чудесно», — словно человек, которому предложили холодный напиток. Но через какое-то время она почувствовала, что он больше не слушает, и позволила рукам соскользнуть с клавиатуры на колени. Он даже не заметил, что она перестала играть.

— А вообще, если подумать, — сказал он, — во дворце — *еще хуже.* И все из-за этих головорезов: разгуливают туда-сюда, обычно их во дворце и не увидишь, но теперь они расхаживают повсюду, будто хозяева, и прямо к нему лезут, будто у них право есть. А уж он как рад их видеть, узнать, с чем пришли, а уж если они ему понравятся, обнимает их, словно братьев. Видели бы вы, что это за типы… А здесь кто-нибудь есть?

— Только слуги, по-моему.

Она глянула в окно — как и следовало ожидать, там, под домом, они и сидели тесной кучкой, не тронувшись с места. Ощутив, что за ними наблюдают, они поднялись и разошлись. Оливия вернулась и села рядом с Гарри, чтобы он мог говорить, понизив голос:

— Он и *сам* странно себя ведет. Я его раньше никогда таким не видел. В сильном возбуждении, не может спокойно усидеть на месте, все ждет чего-то, не знаю чего. Глаза горят — правда, горят. И все ему смешно. Раскачивается на пятках и смеется, — Гарри прикрыл глаза. — Он потрясающе хорош собой. — Гарри произнес эти слова не с удовольствием, а устало.

Хотя Дуглас пришел домой в тот вечер очень поздно, Гарри все еще не уехал. Если он Дуглассу и не нравился (а Оливия знала, что это так), муж ничем не выдал своих чувств, а наоборот, казалось, был рад его приходу. Он и слушать не захотел, что Гарри поедет домой в столь поздний час, и приказал шоферу Наваба отправляться в Хатм без него. Гарри принял приглашение с облегчением и сел с ними за стол, который Оливия красиво убрала цветами и свечами.

Гарри остался на ночь, и на следующий день,

и еще на день. Они с Оливией отлично скрашивали друг другу время. Пыльная буря, шумевшая снаружи, их не волновала, они заперли все двери и окна и уютно устроились в желтых креслах. Оливия играла отрывки из «Паяцев», а Гарри пел форсированным голосом, прижав руку к груди. Они не заметили, как вошла миссис Кроуфорд, а когда заметили, она не позволила им остановиться и присоединилась к ним своим чистым контральто. «Как замечательно», — сказала она и засмеялась, такая молодчина.

Она пришла поговорить о Симле. Сказала, что не хотела уж очень настаивать, но ей кажется, что Оливия не совсем понимает… (тут она обратилась к Гарри за поддержкой).

Он поспешил на выручку:

— Не стоит вам сидеть здесь летом, Оливия. Это невыносимо.

— Но *вы* же справляетесь…

— Да какое там! — Он тут же смутился, словно человек, обнаруживший больше чувства, чем позволяют приличия. И попытался скрыть это за шуткой: — У нас-то, конечно, грандиозные планы срочно выехать в Массури. Мы даже пару раз запаковали и распаковали вещи. — Он снова издал нервный смешок: — В прошлом году было то же

самое, и в позапрошлом… В конце концов, никуда мы не поехали. Бегум там не нравится, вот она все и откладывает поездку. То ей нездоровится, то расположение звезд не благоприятствует путешествию, то филин не вовремя ухнул — каждый раз что-то не так, и всегда в последний момент, когда мы уже готовы выходить из дому. Я уже привык, как и остальные. Один раз мы все же поехали, это было в мой первый год здесь. У него великолепный дом в горах, в швейцарском стиле с примесью церковной готики, очень впечатляет. Да и вид тоже. Оттуда видна даже эта знаменитая гора — как она называется? Ну та, где Шива вроде бы сидел среди вечных снегов? Правда, времени наслаждаться видом не было. Дохлую летучую мышь нашли, и не где-нибудь, а в спальне самой бегум, ну, а это, конечно, ужасная примета, так что пришлось нам быстро собирать вещи и срочно возвращаться домой. А по возвращении три недели подряд нужно было безостановочно обряды совершать. — Внезапно он повернулся к миссис Кроуфорд и быстро заговорил: — Мать все зовет меня домой, она нездорова, и я беспокоюсь. Она одна живет в квартире, видите ли, и уже три года прошло.

— Это много, — сказала миссис Кроуфорд.

— Поначалу уговор был всего на шесть месяцев, но стоит мне заикнуться о возвращении домой — в основном, из-за матери, он сердится. Терпеть не может, когда от него уезжают. — Затем он добавил: — Это все потому, что он очень привязывается к друзьям, он очень любящий. Сердечный. У него доброе сердце. — Гарри смотрел в пол.

Через некоторое время миссис Кроуфорд сказала своим ясным деловым голосом:

— Знакомы ли вы с четой Росс-Милбанк? Он был районным уполномоченным в Коунпоре. Они теперь едут в отпуск — в Бомбей, в пароходную компанию «P&Q», — по-моему, на «Малодже» поплывут четвертого числа. Они у нас остановятся на пару дней. Мы ждем с нетерпением. Это действительно одно из преимуществ Индии, не правда ли — гости приезжают из всех уголков страны.

— Но ведь эти пароходы, они разве не забронированы полностью? На месяцы вперед? — спросил Гарри.

— Ну, односпальную-то каюту можно найти, — сказала миссис Кроуфорд. — И потом, всегда можно телеграфировать Гиббонсам из Бомбея…

— Правда? — спросил Гарри с такой нескрываемой радостью, что она улыбнулась.

— Правда-правда, — пообещала она ему.

Ночью, когда они вместе лежали в постели под москитной сеткой, Оливия сказала Дугласу:

— Но ведь он гость Наваба.

— Ну и что?

— А то, что Наваб оплатил его проезд. И окружал его роскошью все эти годы. Не понимаю, как он может просто сбежать. С друзьями миссис Кроуфорд, — добавила она.

— Дорогая, он же *хочет* уехать.

— Иногда хочет. А иногда — нет.

— Слишком это мудрено для меня. В любом случае, должен хотеть.

— Ты устал от него?

— Наоборот, я рад, что он здесь. Лучше здесь, чем там.

— Но ведь Наваб был так добр к нему! Чрезвычайно добр!

— Завтра я пошлю кого-нибудь за его вещами.

— Дуглас, милый, ты *абсолютно* уверен?

Но на следующий день Наваб приехал сам. Оливия и Дуглас ушли в церковь, а когда вернулись, «роллс-ройс» Наваба стоял у дома, а сам Наваб сидел в гостиной с Гарри, который еще был в пижаме и халате. Выглядели они так, словно у них уже состоялся длинный задушевный разговор.

Когда Наваб сказал, что приехал, чтобы увезти Гарри домой, Дуглас напрягся. Наваб заговорил более сердечно, сказал:

— Спасибо, что приютили его. — И добавил: — Теперь в Хатме все утихло, ему нечего бояться. — Он улыбнулся Гарри, который тоже ответил смущенной улыбкой.

Дуглас сжал зубы, на скулах заходили желваки. Наваб сказал:

— Вы, наверно, слышали, у нас были небольшие беспорядки.

Дуглас смотрел прямо перед собой. Оба, и он, и Наваб, стояли, они были одинакового роста и почти одинакового сложения. Оливия и Гарри, сидя на диване, смотрели на них снизу вверх.

— У нас это каждый год происходит, — сказал Наваб. — Ничего особенного. Горячие головы, но потом остывают. Как погода в это время года.

— Мы видели ваши списки раненых, — глухо сказал Дуглас.

— Ну что же вы стоите! — воскликнула Оливия. Ее никто не услышал.

— Каждый год, — повторил Наваб. — Ничего нельзя сделать.

Дуглас отвернулся. Ему пришлось промолчать: Наваб был независимым правителем, и един-

ственным человеком, уполномоченным говорить с ним, был майор Минниз. Но молчание Дугласа было куда выразительнее слов и мыслей.

Наваб повернулся к Гарри:

— Одевайтесь, нам пора.

Гарри тут же поднялся, но перед тем, как он вышел из комнаты, Дуглас сказал:

— Насколько мне известно, завтра здесь будут мистер и миссис Росс-Милбанк.

Гарри остановился у двери; Наваб непринужденно спросил его:

— Кто это? Ваши друзья?

— Они уезжают в четверг, — сказал Дуглас.

— В Бомбей? — спросил Наваб. — Да, Гарри говорил мне, но это пришлось отменить. Одевайтесь, старина, уж не думаете ли вы, что я вас в таком виде повезу домой. — Он повернулся к Оливии и улыбнулся.

Дуглас сказал Гарри:

— Мистеру Кроуфорду доложили из Бомбея — есть свободная койка.

Теперь Наваб сел в кресло. Он откинулся назад и положил ногу на ногу. Он сказал Дугласу:

— Мы с Гарри поговорили. Это просто недоразумение. Я принесу мистеру и миссис Кроуфорд свои извинения и поблагодарю их от имени мо-

его гостя. А еще я поблагодарю, — великодушно добавил он, — мистера и миссис Росс-Милбанк.

Дуглас намеренно обратился только к Гарри:

— Вы же хотели уехать. Ваша мать нездорова.

Наваб сказал:

— Мы должны быть благодарны: его матери лучше, она поправилась… А теперь мы все с нетерпением ждем ее приезда. Моя мать послала ей приглашение на урду, писанное ее собственной рукой, а я приложил свой перевод на английский и добавил: «У вас теперь двое сыновей, и оба они очень хотят, чтобы вы приехали». — Он откинулся еще глубже на спинку кресла и снова положил ногу на ногу, переменив позу, довольный тем, как ладно он все устроил. Гарри глубоко вздохнул и сказал Дугласу:

— Спасибо вам большое за гостеприимство. Это правда, знаете, я действительно хочу вернуться во дворец. Он же сказал, мы об этом поговорили перед тем, как вы пришли. Я правда хочу.

— Вы не обязаны, — сказал ему Дуглас с другого конца комнаты.

— Я хочу, — сказал Гарри.

Наваб рассмеялся:

— Разве вы не видите, мистер и миссис Риверс, он же как ребенок, который сам не знает, чего

хочет! Мы все должны за него решать. Полюбуйтесь, — продолжал он, — мне приходится приказывать ему одеваться. Гарри, как можно в таком виде стоять перед дамой? Идите и причешитесь. — Он шутливо растрепал ему волосы, и они улыбнулись друг другу, словно это была давняя шутка. — Идите же, — сказал Наваб нежно и твердо и, когда Гарри ушел, повернулся с Дугласу и Оливии: — Вы знаете, что Гарри страшный эгоист? — серьезно спросил он, а затем вздохнул и добавил: — Но что же делать, я так привык к нему, он у меня вот здесь. — Наваб положил руку на сердце.

Оливия быстро взглянула на Дугласа. Ее огорчило, что он стоял, как прежде. Сама она не сомневалась, что Наваб говорит совершенно искренне: ей даже было немного завидно, что Гарри вызвал у него такую глубокую любовь и чувство дружбы.

* * *

25 апреля. Чид и я теперь совсем слились с пейзажем: мы стали частью города, частью здешней жизни, и нас полностью приняли. Город привык принимать и вбирать в себя самые разные ингредиенты, например, усыпальницы мусульманской

знати, с одной стороны, и маленькие серые камни святилищ сати, с другой. Добавьте еще калек, блаженных и местных попрошаек. Они перемещаются с одной улицы на другую и, если происходит что-нибудь интересное, скорее бегут туда, чтобы влиться в толпу. Как и все остальные, я теперь к ним привыкла (да и они ко мне), хотя должна признаться, что сначала они производили на меня отталкивающее впечатление. После некоторых болезней даже излечившиеся порой выглядят так страшно, что до конца дней своих вынуждены жить среди своих собратьев, словно живые примеры ужасов, которые могут произойти с человеком. Один из нищих — вылеченный от проказы (тяжелый случай: лишился носа, пальцев рук и ног), живет в хижине за чертой города, но ему разрешается приходить и просить подаяния, если он держится на соответствующем расстоянии. Есть еще старик, у которого, я думаю, пляска святого Витта: его тело изогнуто вокруг длинного шеста, с которым он не расстается, передвигается он скачками и прыжками, дергаясь, как марионетка. Но недуги мучают не только нищих и попрошаек. Один из самых преуспевающих хозяев городских магазинов, занимающийся также ростовщичеством, страдает слоновьей

болезнью, его часто можно видеть в лавке, где он сидит с раздувшейся до размеров футбольного мяча мошонкой, покоящейся перед ним на специальной подушке.

И днем, и ночью бушуют пыльные бури. Горячие ветра со свистом гонят столбы пыли из пустыни в город; воздух, как и все пять чувств, пронизан пылью. Листья, когда-то зеленые, теперь словно покрыты пеплом и крутятся в вихре, будто дервиши в пляске. Люди раздражены, не могут найти себе места, готовы вот-вот сорваться. Невозможно ни сидеть, ни стоять, ни лежать — в любом положении неудобно, и мысли тоже в смятении.

Чида, похоже, погода не беспокоит. Он часами сидит в позе лотоса, шевеля губами (перебирает мантры) и пальцами (перебирает четки); это длится бесконечно долго и почему-то кажется таким *бессмысленным,* что раздражает невероятно. Словно какой бы то ни было разум и здравый смысл постепенно исчезают из окружающего пространства. У Чида то и дело возникают эти его гигантские эрекции, и мне приходится от него отбиваться (вдобавок ко всему стоит невыносимая жара). Он, помимо всего прочего, нечистоплотен: купание — единственный индуистский обряд,

которого он не совершает и, поскольку сам он в материальные ценности не верит, считает, что и другим они тоже ни к чему. Я начала прятать деньги, но он каждый раз ухитряется их найти.

Сегодня от так меня извел, что я его прогнала. Просто свернула в тюк его вещи и сбросила с лестницы. Его медная кружка поскакала по ступенькам и была подхвачена Риту, которая как раз в этот момент решила меня навестить. Чид собрал свои пожитки и, проследовав за ней наверх, разложил их на прежнем месте.

— Уходи сейчас же, — сказала я ему.

Больше я ничего сказать не смогла из-за Риту. Она была какая-то странная. Села в углу, подняв колени, и не произнесла ни слова. Выглядела она напуганной, как зверек, прибежавший искать защиты. Хотя я и не чувствовала себя в силах кого-либо защитить, я попыталась взять себя в руки и спокойно поговорить с ней. Думаю, она меня даже не слышала. Взгляд ее метался по комнате, но она ничего не видела. Чид скрестил ноги и сел в углу напротив. Он закрыл глаза — четки скользнули между пальцев — и забормотал. Я разозлилась.

— Убирайся! — крикнула я ему.

Но чтение нараспев перенесло его в какое-то

другое измерение, возможно, более прохладное, ясное и красивое. Он слегка раскачивался, четки всё скользили, губы двигались, он пребывал в состоянии полного блаженства. Риту начала кричать, как тогда, ночью. Чид открыл глаза, посмотрел на нее и снова закрыл, не прерывая песнопений. Оба шумели все громче, словно принадлежали разным сектам и пытались доказать преимущество своей, перекричав соперника.

30 апреля. С продолжением жары и пыльных бурь состояние Риту ухудшилось. Теперь ее держат взаперти, и иногда из комнаты доносятся жуткие звуки. Люди, живущие в нашем дворе, похоже, к ним привыкли и продолжают спокойно заниматься своими делами. Чида они тоже не беспокоят. Говорит, что он в Индии достаточно давно, чтобы ни на что не реагировать. Но я к этим крикам привыкнуть не могу, и все повторяю: «Ей нужно лечиться».

Однажды он сказал:

— Сегодня ее будут лечить.

— Кто? — спросила я.

— Придет один из их людей.

В тот день снова начались крики, но совершенно другие. Теперь от них кровь стыла в жилах, казалось, что это кричит животное от сильней-

шей боли. Даже соседи по двору останавливались и слушали. Чид соблюдал спокойствие: «Это лечение», — объяснил он, и пустился в рассуждения: в нее, возможно, вселился злой дух, которого нужно изгнать с помощью раскаленного утюга, который прижимают к разным частям тела, например, к рукам или подошвам ног.

На следующий день я решила поговорить с Индером Лалом о психиатрии и соответствующем лечении. Я дождалась его у его конторы и, пока мы вместе шли домой, пыталась объяснить ему, что это такое: «Это как бы наука о разуме». Это его обрадовало и заинтересовало. Науку он связывает с прогрессом и вообще со всем тем современным, что так рьяно изучает; стоит кому-то заговорить о чем-то подобном, и на его лице появляется выражение тоски и смутного желания.

Но когда я упомянула «лечение», которому подверглась Риту, он изменился в лице. Стал каким-то печальным, смущенным и сказал:

— Не верю я в эти штуки.

— Но вы же распорядились…

— Это мать хотела.

Он продолжал, защищая и себя, и ее. Сказал, что все его друзья посоветовали то же самое, они привели в пример много случаев, когда

такое лечение помогло. Сначала его мать тоже сомневалась, но затем сказала: «Почему бы не попытаться», — ведь они испробовали все, что можно, но так и не смогли облегчить страданий Риту.

В этот момент один из его сослуживцев прошел мимо и вежливо поздоровался со мной. Они все теперь ко мне привыкли и часто пользовались возможностью поговорить по-английски. Я тоже поприветствовала его, но Индер Лал не пожелал принимать участие в обмене любезностями. Он нахмурился, а когда коллега был далеко, сказал:

— Что это он притворяется таким любезным?

— Он и вправду любезен.

Индер Лал нахмурился еще сильнее. И надолго замолчал, размышляя.

— А что тут такого? — спросила я.

Индер Лал взмолился, чтобы я говорила тише. Он оглянулся через плечо, что меня рассмешило.

— Вы понятия не имеете… — сказал он тогда. Лицо у него окаменело от страха, его терзали подозрения. — Вы не знаете, на что способны люди и что у них на душе, даже когда они дружелюбно улыбаются. Вчера пришло анонимное письмо, — сказал он, понизив голос.

— О вас?

Он не стал продолжать. Шел рядом в задумчивом молчании. Мне очень тяжело было видеть его таким — его живая натура была омрачена недоверием.

2 мая. Если я рекомендовала психотерапию, то Маджи — святая женщина и друг — посоветовала паломничество. Мать Индера Лала и Риту отправляются через несколько дней, и, что самое прекрасное, Чид едет с ними! Маджи уговорила его поехать — я почти уверена, что ради меня; хотя я ей никогда не жаловалась на Чида, она обо всем знает сама.

Она сама это сказала вчера, когда я пришла к ней в гости. Сначала мы сидели у нее в хижине, но там стало так душно, что мы снова вылезли наружу, несмотря на все еще жаркий ветер. Пыль клубилась вокруг королевских усыпальниц и пеленой оседала на озере. Чид тоже был с нами. Он часто навещает Маджи, говорит, что находит успокоение в ее присутствии. Вдвоем они составляют странную пару. Маджи очень простая крестьянка, довольно толстая и жизнерадостная. Каждый раз, когда она смотрит на Чида, она издает короткий смешок. «Хороший мальчик!» — говорит она по-английски, возможно, единственные известные ей слова. Он и вправду

выглядит, как хороший мальчик, когда он с ней: сидит очень прямо, в позе для медитации, и на лице у него одухотворенное, хотя и немного напряженное выражение.

Маджи объяснила мне значение паломничества. «Если кто-нибудь несчастен, или не в своем уме, или если есть у него заветное желание, или тоскует о чем-либо, нужно идти. Это длинное-длинное путешествие, придется подняться высоко в Гималаи. Очень красивое и святое место. Когда она вернется, — сказала она про Риту, — у нее на сердце полегчает».

Она похлопала меня по колену (ей нравится прикасаться к людям) и спросила:

— Хочешь съездить? — Она показала на Чида. — А уж ему-то как понравится, хороший ты мальчик. — Она громко рассмеялась, а затем любовно ущипнула его за щеки.

— Ты поедешь? — спросила я его, но он прикрыл глаза и пробормотал «Ом».

Маджи сказала:

— Кто только туда ни едет, со всей Индии. Люди недели и месяцы проводят вдали от дома, чтобы добраться туда. По пути останавливаются в гостиницах при храмах, а когда проходят мимо рек, купаются в них. Они путешествуют очень

медленно, и, если какое-то место им понравится, они там останавливаются и отдыхают. В конце концов, добираются до гор и начинают подъем. Как же описать то место, те горы! — воскликнула Маджи. — Словно на небеса поднимаешься. Воздух прохладен, ветер, облака, птицы и деревья. А потом лишь снег, все белым-бело, даже солнце светит белым светом. Искупавшись в ледяном ручье, они наконец останавливаются у пещеры. Многие теряют сознание от счастья, и никто не может сдержаться, все выкрикивают имя Его как можно громче. Джай Шива Шанкар![9] — крикнула она.

— Джай Шива Шанкар! — громко отозвался Чид.

— Хороший мальчик! Хороший мальчик! — воскликнула она, побуждая его повторять с ней эти слова. И в самом деле, их голоса словно отзывались эхом в снежных горах, и должна признаться, что, сидя здесь посреди пыльной бури под желтым небом, я тоже захотела быть там, на вершине.

---

[9] Примечания: 9

Мантра-молитва богу Шиве с просьбой даровать исцеление и спокойствие.

1923

Миссис Кроуфорд и миссис Минниз уехали в Симлу. Хотя Дуглас сделал все, что мог, чтобы убедить Оливию поехать с ними, он был очень благодарен и счастлив, оттого что она решила остаться. Вместе они проводили чудесные вечера и ночи. Оливия старалась быть при нем живой и веселой. Она понимала, что, когда Дуглас возвращался домой, ему просто хотелось *быть*, дома, с ней, в их изящном английском бунгало, оставив за дверью всю эту жару и неприятности, с которыми ему приходилось иметь дело в течение дня. Так что она никогда не затрагивала тем, которые могли бы его расстроить (таких, как, например, Наваб), а болтала о чем угодно, только не об Индии. В те дни Дуглас любил ее еще больше, если только это было возможно. Немногословный от природы, он иногда достигал такой высоты чувств, что ему казалось, он должен их выразить, но они всегда оказывались столь сильны, что он начинал заикаться.

Гарри обычно приезжал рано утром, сразу же после отъезда Дугласа, всегда в автомобиле Наваба. Они с Оливией садились в машину и ехали в Хатм. Хотя в дороге всегда было жарко

и пыльно, а пейзаж был совершенно плоским и однообразным, Оливия научилась получать удовольствие от этих утренних поездок. Иногда она бросала взгляд из окна и думала, что, в общем-то, вид не так уж и плох, она даже понимала, что можно научиться любить его. И училась: огромные пространства, огромное небо, пыль и солнце, а иногда разрушенный форт, мечеть или скопление гробниц. Все это было столь непохоже на что-либо доныне ей известное, что казалось, будто находишься не на другом конце света, а в ином мире, другом измерении.

Обычно они проводили весь день в просторной гостиной дворца. Над комнатой находилась галерея, откуда за ними наблюдали женщины, но Оливия никогда не смотрела вверх. Помимо Наваба и Гарри тут неизменно присутствовали молодые люди, возлежавшие в грациозных позах. Они пили, курили, играли в карты и готовы были продолжать так до бесконечности, пока Наваб их не отсылал.

Однажды Наваб обратился к ней:

— Оливия (так он теперь ее называл), Оливия, вы прекрасно играете, но вы еще ни разу не играли на моем пианино.

— Где же оно?

Оливия оглядела гостиную. Это была длинная и прохладная мраморная комната, скромно убранная немногочисленной европейской мебелью, расставленной между колоннами. Там были резные диваны в роскошной обивке, несколько таких же резных столиков и бар для коктейлей, сделанный по заказу Наваба из слоновьей ноги, но пианино не было.

Наваб рассмеялся:

— Идемте, я вам покажу.

Больше он никого не позвал. И повел Оливию через разные комнаты и проходы. Сама бы она наверняка заблудилась: во дворце, не очень большом, но запутанном, было немало помещений, где она никогда не бывала и понятия не имела, что в них, если в них вообще что-либо было. Наваб привел ее в подвальное помещение, служившее, по всей видимости, хранилищем. И каким! Там стояло огромное количество съемочной аппаратуры, покрытой ржавчиной, однако непохоже было, что ею часто пользовались и прежде: частично она даже не была распакована. Та же судьба постигла современную сантехнику. Тут же хранился целый набор разнообразных игр, вроде автомата для игры в пинбол, комплекта крокетных молотков, миниатюрного тира, кон-

структора, снаряжения для хоккейной команды. Все эти вещи, очевидно, были заказаны в Европе, но интерес к ним иссяк до того, как они, наконец, прибыли. Музыкальных инструментов было целых два: рояль и пианино.

Когда Наваб коснулся сукна, покрывающего рояль, какой-то маленький зверек, похожий на белку, стремительно вылетел из-под покрывала, спасаясь бегством. Наваба это не удивило:

— Вам нравятся мои пианино? — спросил он Оливию, и добавил извиняющимся тоном. — Вот только играть на них некому.

Разбухшие клавиши застревали, и, когда Оливия попробовала поиграть, раздалось лишь резкое дребезжание.

— Как жаль, — сказала она с чувством.

— Да, — сказал Наваб, — вы правы. — Он тоже вдруг погрустнел и опустился на один из не распакованных ящиков. Прервав тяжелое молчание, он сказал: — Их заказали для моей жены.

Оливия снова попробовала, но произведенные звуки были слишком тоскливы.

— Можно ли починить инструменты? — спросил Наваб.

— Если найти хорошего настройщика.

— Непременно. Я сейчас же пошлю за этой

штукой.

— Это человек, — сказала Оливия. — Мне он тоже очень нужен, но Дуглас говорит, что ему придется ехать из самого Бомбея.

— Что же вы мне раньше не сказали? О таких вещах нужно сразу говорить. Я так мало могу сделать для своих друзей. Вы знали, что я был женат?

— Я слышала, — пробормотала Оливия.

Он наклонился вперед:

— Что вы слышали? — Его глаза внимательно изучали ее опущенное лицо, на котором, как она надеялась, ничего не отразилось. Тем не менее он что-то уловил и сказал: — Вы обо мне еще немало чего услышите. Слишком много недоброжелателей. Что бы я ни сделал, всегда найдется кто-нибудь, кто белое назовет черным. Вы знаете Мурада? — Оливия знала, что это один из молодых людей, всегда находившихся поблизости, но ей трудно было их различить. — Он шпион, — сказал Наваб. — Я знаю, и он знает, что я знаю, мы друг друга понимаем. И он не единственный. Есть и другие — среди слуг и остальных домочадцев. — Его прикованный к Оливии взгляд выдавал мрачность мыслей. Если он и ее начнет подозревать (а он, возможно, и подозревал), то

защититься будет нечем.

Но Наваб снова перевел разговор на пианино:

— Если мне их настроят и перенесут наверх, вы приедете и сыграете, Оливия? Меня это очень порадует. Сэнди училась играть на ситаре[10], но ей наскучило, и я заказал пианино. К тому времени, как инструменты привезли, ее уже тут не было. Пожалуйста, поиграйте.

— Но оно так ужасно звучит.

— Пожалуйста, для меня.

Он стоял за ней, пока она пыталась играть прелюдию Баха. Звук был кошмарным, но Наваб серьезно кивал, словно ему нравилось исполнение. Теперь он придвинулся совсем близко.

— Жаль, что Сэнди не научилась играть, как вы. Мне ее не хватает. Ей полагалось быть наверху, за занавесью, но она частенько пряталась от всех, чтобы быть со мной. Понимаете, она была современной девушкой, училась в Швейцарии и тому подобное. Она была не такая, как наши индийские женщины, а как вы, Оливия. Она была, как вы. И такая же красивая.

Оливия добралась до замысловатых пасса-

---

[10] Примечания: 10

Ситар — многострунный музыкальный инструмент из группы струнных, используемый для исполнения индийской классической музыки.

жей. Она старательно играла, но звучание было нестройным и жутковатым. Да и Наваб, похоже, потерял интерес к музыке. Он выпрямился со вздохом и, хотя она продолжала играть, повернулся, собираясь уходить. Ей пришлось прервать игру и следовать за ним, потому что сама она ни за что бы не нашла обратной дороги.

Именно во время ее растущей дружбы с Навабом, они с Дугласом начали серьезно задумываться о детях. Обоим очень хотелось иметь детей.

Оливия считала, что любого, кто был таким же красивым и безупречным, как Дуглас, нужно воспроизводить многажды! Она его дразнила и говорила, что он женился на ней только ради того, чтобы заселить мир огромным количеством Дугласов. Ничего подобного, говорил он, ему нужны многочисленные Оливии.

— Да, но я, знаешь ли, совершенно уникальна.

— Конечно, уникальна. Совершенно уникальна, — горячо согласился он. И нагнулся поцеловать ее в обнаженное плечо. Они одевались к ужину (ожидались два соломенных вдовца: мистер Кроуфорд и майор Минниз), и Оливия сидела у туалетного столика в кремовом шелковом белье, щедро опрыскивая себя лавандовой водой.

Они заговорили о своих будущих сыновьях.

Оливии нравилось думать о них как о чиновниках высокого ранга: один — военный, другой — на гражданской службе, как Дуглас, но, может быть, политик? Все, конечно, будут в Индии, но одно сомнение у нее все же оставалось:

— А если случатся перемены… я имею в виду, мистер Ганди и эти люди… — но она умолкла, увидев в зеркале, как улыбается Дуглас. У него не было *никаких* сомнений.

— Мы им еще долго будем нужны, — заверил он ее с легкой усмешкой: его позабавили слова Оливии. Стоя в сорочке и подтяжках, он задрал подбородок, чтобы завязать бабочку.

— А как же Оливия? — спросила она, спокойная за сыновей.

Дуглас и на счет дочери был совершенно уверен. *Она* выйдет замуж *за человека* из такой же семьи, как у жены, за кого-нибудь вроде ее братьев, и станет…

— Как миссис Кроуфорд?

Дуглас снова улыбнулся:

— Нет, как Оливия, ничто другое меня не устроит.

— Ничего в ней хорошего нет, — сказала Оливия неожиданно с глубокой уверенностью, даже, пожалуй, с отвращением к себе. Дуглас не заме-

тил, как изменился ее тон, рассмеялся и сказал:

— Для меня в самый раз.

Но когда он снова нагнулся поцеловать ее в плечо, она быстро встала и начала натягивать платье.

— Они скоро будут, — сказала она, — иди.

Она распорядилась, чтобы стол вынесли в сад, и тщательно его украсила. Джентльмены оценили женскую заботливость. Они расслабились (хотя вечер был жарким, а они пришли в смокингах) и рассказывали об отсутствующих дамах. Новости из Симлы были хорошими: «Жимолость» оправдала все ожидания, а погода была такой прохладной, что однажды они даже разжигали камин! Не потому, что он так уж был нужен (по признанию миссис Кроуфорд), просто было чудесно смотреть на большое уютное пламя.

Майор Минниз сказал:

— Такого чуда нам здесь не нужно. — Он промокнул блестевшее от пота лицо, но продолжал удовлетворенно улыбаться и поднял бокал за Оливию: — За нашу хозяйку, которая осталась с нами в этой печке.

«Непременно» и «а как же» отозвался мистер Кроуфорд, также поднимая бокал. К ним присоединился и Дуглас. Оливия увидела три сияющих

лица, обращенных к ней.

— Ну, что вы, — пробормотала она и опустила взгляд на свою руку, лежавшую на скатерти. Она ощущала, как их восхищение и благодарность окутывали ее. Все пили прохладное вино. За домом поднялась луна, превратив все в театральные декорации, вырисовывающиеся на фоне ночи; явилась череда слуг со сменой блюд. Сад был полон летних ароматов жасмина и «царицы ночи»[11]. В самом дальнем конце сада к стене приткнулись покои слуг, откуда доносились приглушенные, но несмолкающие звуки.

— Ну, а вы как, Минниз? — спросил мистер Кроуфорд. — Когда покинете нас ради прохладных мест? — Когда майор покачал головой, он сказал сочувственно: — Это что же, наш приятель по-прежнему шалит? Плохо дело.

— Я привык, — добродушно ответил майор Минниз. — Жаль только, что все произошло одновременно, в одно лето. Бедная Мэри. Мы не были в отпуске вместе… погодите, ну да, с девятнадцатого года. Два года назад случилась вся эта история с Кабобпурами, а в этом году… — он махнул рукой, полагая, что они и так знают, что́ произошло в

---

[11] Примечания: 11

Разновидность жасмина, cestrum nocturnum — ночной жасмин *(лат.).*

этом году. Они знали, и очень даже хорошо! Но Оливия вновь подняла опасную тему:

— Это все тот ужасный День мужниной свадьбы?

— Нет, милая леди, — сказал майор Минниз. — День мужниной свадьбы уже миновал. На этот раз мы обошлись без больших потерь: всего шестеро убитых и сорок три раненых. Поблагодарим небеса за малые удачи, аминь, и помолимся за то, чтобы выбраться целыми и невредимыми из очередных разбойных дел… В данный момент, — сказал он, — мне бы не хотелось оказаться на месте этого молодца.

— На чьем месте? — спросила Оливия. Она обратилась к Дугласу через стол: — Дорогой, что ты делаешь? Вели принести другую бутылку.

— Прости, прости, — сказал Дуглас, отрываясь от разговора, чтобы подозвать главного слугу.

— Нашего приятеля, — сказал майор Минниз.

— Похоже, дела принимают мрачный оборот, — сказал мистер Кроуфорд.

— Совершенно верно. Я стараюсь излагать все сдержанно в своем отчете, но, черт подери, нелегко сдерживаться, когда видишь, как признанный правитель превращается в главаря бандитской шайки.

— Главаря шайки! — воскликнула потрясенная Оливия. Это прозвучало очень резко, и она быстро глянула на Дугласа, но он не обратил внимания, так как и сам негодовал, его внимание было приковано к майору Миннизу.

— Конечно, всем известно, что наш приятель разорен, — сказал майор Минниз, — это не новость. Ново то, что, выжав из своих подданных все до последней капли, он начал прибегать к более грубым методам. Не хотелось бы заострять на этом внимание, но тут процветает самый настоящий грабеж.

Он замолчал, чтобы успокоиться, так как был возмущен до глубины души. Остальные тоже молчали. На дереве вдруг чирикнула проснувшаяся птица. Может быть, ей снилась змея, а может, змея и в самом деле была рядом.

— Завидую я вам, друзья — сказал майор Минниз. — В округе крестьяне, простой люд, их можно понять. И сдержать.

— Некоторые из них вполне приличные ребята, — подтвердил мистер Кроуфорд.

— Верно, — сказал майор Минниз. И снова с трудом подавил какое-то чувство перед тем, как смог продолжать: — Как-то раз я был советником у махараджи Данга. Он тогда строил дворец,

возможно, вы его видели? По-крайней мере, слышали — из-за строительства поднялся большой шум. Подразумевалось, что дворец станет современным Версалем. На самом же деле получилась невероятно уродливая конструкция, какой-то сарай с дорическими колоннами, но не в этом дело. Дело в том, что, когда Его Величество занимался постройкой, муссонных дождей два сезона не было, и Дангу со всеми окружавшими его районами грозил голод. Его Величество был слишком занят, чтобы обратить на это внимание и выслушать нас. К нему даже на прием попасть было невероятно трудно, так он был занят всеми этими людьми, которых вывез из Европы: архитектором, и оформителем, и *портным*, представьте себе, из Вены (для шитья занавесок), да еще какой-то чемпионкой по плаванию — для торжественного открытия подземного бассейна… В общем, когда мне, наконец, удалось поведать ему о своих печалях, он назвал меня старым брюзгой. Его Величество обожал эти выражения, он в Итоне учился. «Старый вы брюзга, майор, — сказал он мне. Затем вдруг принял серьезный вид, встал во весь рост (во все свои полтора метра) и прибавил: — Ваша беда в том, старина, и простите меня за откровенность, что у вас совершенно нет

воображения. Никакого». К сожалению, кое-какое воображение у меня все-таки было, и даже получше, чем у него, так как голод действительно наступил. Помните двенадцатый год?

— Ужасный, — сказал мистер Кроуфорд.

— Единственное, что можно сказать в его защиту, он в самом деле был болваном. Хуже, когда это не так. Вот, например, наш приятель. Когда им так много дано от природы: внешность, ум, характер, все что угодно — а *потом* видишь, как они теряют голову… В чем дело, милая леди, вы нас покидаете?

— Оставлю вас с бренди и сигарами.

Трое мужчин, поднявшись, глядели, как она идет через залитую лунным светом лужайку. Оливия вошла в дом, но не в гостиную, куда слуги подали ей кофе, а наверх, на террасу, и задумчиво оперлась на перила. Ей были видны эти трое внизу, по-прежнему сидевшие за столом. Наверное теперь, после ее ухода, они говорили более свободно, и о Навабе, и о его загадочных проступках. У нее было странное, очень странное чувство. Оливия смотрела дальше, поверх этой живой сценки в саду, где трое англичан в смокингах дымили сигарами, пока слуги суетились вокруг с графинами: ей был виден дом Сондерсов,

за ним шпиль маленькой церкви и могилы на кладбище, а еще дальше плоский, так хорошо знакомый ей пейзаж — миля за милей бурой земли, ведущей в Хатм.

* * *

12 июня. От Чида продолжают приходить письма. Первое из них меня удивило, я не думала, что он из тех, кто оглядывается назад и помнит о людях. Письмо начиналось не с личного приветствия, а с «Джай Шива Шанкар! Хари Ом!», выведенного черными чернилами. Он писал: «Окружающий нас свет, вот что определяет наш разум. Чистый истинный *незамутненный* разум — вот в чем совершенное счастье. Совершенный чистый незамутненный разум и есть рай». Почти все письмо было выдержано в подобном тоне, лишь где-то в середине он написал: «Мы прибыли в И Дхарамсалу. Святое место, вот только священник хочет обвести нас вокруг пальца и ограбить». И еще в конце: «Забыл питьевую кружку, отправь в храм И Шри Кришна Махараджи в Дхарамсалу с уведомлением о вручении».

Его последующие письма были изготовлены по тому же образцу: много философии, а в середине пара строчек о том, что происходит на самом деле

(обычно — о «мошенничестве и грабеже»), и под конец — просьба. Это чрезвычайно интересные документы, я храню их у себя в столике вместе с письмами Оливии. Они образуют странное сочетание. Почерк Оливии четок и изящен, хотя кажется, что писала она второпях, пытаясь угнаться за своими мыслями и чувствами. Ее письма адресованы Марсии, но на самом деле кажется, будто писала она сама себе, настолько они личные. В письмах Чида ничего личного нет. И пишет он всегда на безличных почтовых бланках, которые вместе с захватанными и неразборчиво написанными открытками составляют основную массу почты, пересекающую Индию из одного конца в другой. Они выглядят так, будто проделали очень длинный путь и прошли через огромное количество рук, по пути покрываясь отпечатками и впитывая запахи. Письма Оливии, которым более пятидесяти лет, выглядят так, будто были написаны вчера. Чернила, правда, побледнели, но, возможно, это просто сорт, который она использовала в тон нежному лиловому цвету письменных принадлежностей — от них все еще исходит запах. Смятые письма Чида пахнут совсем иначе — их словно окунали в типичные для Индии ароматы специй, мочи и растений.

Индер Лал всегда с удовольствием слушает письма Чида. Он поднимается ко мне в комнату по вечерам, и я их ему читаю. Его привлекает философия. Он считает, что у Чида древняя душа, претерпевшая не одну инкарнацию. Большинство перерождений произошло в Индии, поэтому Чид сюда вернулся. Но чего Индер Лал не может понять, это зачем здесь *я.* В прошлой жизни я не была индуской, почему же я прибыла теперь?

Я пытаюсь подобрать для него объяснения. Говорю, что многие из нас устали от западного материализма, и, даже если нас не привлекает духовность Востока, мы приезжаем сюда в надежде найти более простой и естественный образ жизни. Мое объяснение его ранит. Ему кажется, что это насмешка. Зачем людям, у которых есть все (машины, холодильники), приезжать сюда, где нет ничего? Он говорит, что ему бывает стыдно передо мной за его быт. Когда я пытаюсь спорить, он заводится еще больше. Говорит, что прекрасно понимает, по западным стандартам, его дом, и еда, и даже застольные манеры, считаются примитивными и недопустимыми, да и его самого сочли бы таким же — неученым и неотесанным. Да, он прекрасно понимает, что в этом смысле плетется далеко позади и у меня есть все осно-

вания смеяться над ним. «Да и как не смеяться!» — восклицает он, не давая мне возможности вставить ни слова, он сам видит и условия, в которых живут люди, и все их предрассудки. Как же не смеяться, говорит он, указывая на окно, откуда виден движущийся мимо городской нищий — подросток-калека, который не может стоять и тащит свое тело по пыли, — как же не смеяться, спрашивает Индер Лал, при виде всего этого?

В такие минуты я вспоминаю Карима и Китти. Я виделась с ними в Лондоне перед приездом в Индию. Карим — племянник Наваба и его наследник, а Китти, его жена, тоже какой-то королевской (или, скорее, в прошлом королевской) крови. Когда я позвонила Кариму и рассказала, что еду в Индию изучать историю Хатма, он пригласил меня к ним в квартиру в Найтсбридже. Он сам открыл дверь: «Привет». Невероятно красивый молодой человек, одетый по последнему писку лондонской моды. Я все думала, похож ли он на Наваба. Наверное, нет: Карим очень тонкий, слишком худой, с изящными чертами лица и длинными вьющимися волосами, а Наваб в молодости, говорят, был крупным мужчиной с ястребиным лицом.

Карим провел меня в комнату, полную людей.

Сначала я подумала, что у них вечеринка, но потом поняла, что они зашли просто так. Все были из компании Карима и Китти. Большинство сидело на полу, на разбросанных подушках, валиках и коврах. Все было индийским, подобно почти всем присутствующим. Звучала запись индийского сарода[12], которую никто не слушал, но она служила фоном для их бесед, проходивших на высоких, как бы птичьих нотах. Китти устроилась на красном с золотом диване, который когда-то служил качелями и был прикреплён длинными золотыми цепями к потолку. Она тоже была одета в небрежно строгий лондонский наряд (брюки и шелковую блузку) и носила его так же грациозно, как носила бы сари: возможно, так казалось из-за ее очень тонких рук, талии и шеи, но удивительно округлых бедер. Она тоже поприветствовала меня и, помахав рукой в неопределенном направлении, пробормотала: «Присаживайтесь».

Я так и не разобралась в том, кем были все эти люди и жили ли они в Лондоне или просто приехали в гости. У меня сложилось впечатление, что они с легкостью ездили туда-сюда, и иногда было неясно, говорят ли они о лондонских событиях

[12] Примечания: 12

Сарод — струнный щипковый инструмент лютневого типа, используемый для исполнения индийской классическом музыки.

или о том, что произошло в Бомбее. Все присутствующие хорошо разбирались в купле-продаже и со знанием дела обсуждали, какие семейные реликвии можно безопасно вывозить из Индии в ручном багаже, а какие лучше доставлять другими способами.

Единственными англичанами, кроме меня, была пара Кит и Дорин. Они казались более крупными и сильными, более грубыми по сравнению с остальными и с большим интересом, даже, как мне показалось, с жадностью, слушали разговоры о семейных сокровищах. Они рассказали мне, что занимаются пошивом одежды и собираются заняться производством вещей исключительно из индийской материи. Они собирались заключить договор с Китти и Каримом: Карим будет им помогать налаживать деловые отношения с партнерами, а Китти займется творческой стороной. Она, видите ли, очень творческая натура.

Карим свернулся калачиком на подушке у моих ног. Он посмотрел на меня своими красивыми глазами и сказал: «Расскажите же нам, что вы хотите изучать». Когда я объяснила, что мне особенно интересен его дядя, предыдущий Наваб, он сказал: «Ну, это был такой шалун!». Все засмеялись и сказали, что в те времена лю-

ди позволяли себе немало шалостей. И начали рассказывать истории. У всех имелись родственники, ввязывавшиеся во всевозможные скандалы в лондонских гостиницах; свергнутые с трона за жуткие преступления; бросавшие на ветер семейные состояния; спивавшиеся, погибавшие от наркотиков или яда, подсыпанного незаконнорожденными братьями. В рассказах этих звучала тоска по прошлому: «Что ни говори, — заключил один из них, — а те дни были по-своему очаровательны».

Затем они перешли к обсуждению настоящего, напрочь лишенного очарования. Индия была, конечно, домом, но жить там становилось столь трудно, что приходилось оставаться за границей. Несмотря на это, все до единого были готовы служить Индии и служили бы, если бы только не это непримиримое отношение нынешнего правительства, из-за чего все они испытали множество неприятностей. Одна девушка рассказала, как ее семья попыталась из своего дворца сделать отель. Место было живописное, с разнообразными достопримечательностями, и некоторые зарубежные инвесторы очень заинтересовались этим начинанием. Но индийское правительство сначала потребовало лицензии на все, что только

можно, а затем отказалось их выдать. Взять, к примеру, само здание: старое, построенное в девятнадцатом веке, туда, конечно, для нужд современных туристов необходимо было доставить и установить всякие современные удобства. Нельзя же ожидать, сказала она, что такой турист будет в нужнике сидеть! Но попробуйте объяснить все это государственному чиновнику, которому известно только слово «нет». В конце концов, у инвесторов пропало желание в этом участвовать, и они ушли. Теперь бесхозный дворец просто остался стоять с проседающей крышей, так что у семьи не оставалось другого выхода, кроме как выставить другое свое имущество на аукцион за границей — бесценные вещи, включая золотую колесницу, в которой раз в год Кришну возили на праздничную процессию. Они даже цену за нее хорошую получили, но, как водится, нужно было платить множеству посредников: и аукционщикам, и людям, организовавшим вывоз предметов из страны.

Карим сказал, что ему тоже пришлось избавиться от большинства сокровищ из дворца в Хатме. Оставить их там означало бы отдать на съедение белым муравьям и плесени. Там оставалась коллекция миниатюр, но она оказалась

никому не нужна — даже описана не была, картины просто обернули тканью и отправили в подвальные помещения. Теперь, к сожалению, большинство вещей уже продано зарубежным покупателям, хотя некоторые из картин Карим сохранил, и не столько из-за их ценности, сколько ради семейных воспоминаний.

— Идемте, я вам покажу. — Он вскочил, грациозно распрямив длинные ноги, и повел меня в другую комнату. Это была довольно экзотичная гостиная, заполненная ковриками и расписной мебелью, но Карим сказал, что это просто каморка, где им с Китти иногда нравится отдыхать. Именно здесь, в золотой раме на красных обоях каморки Китти и Карима, я впервые увидела дворец Хатма. Его вид отличался от нынешнего, но, возможно, дело просто было в стиле художника. Все было украшено самоцветами: цветы в саду, капли воды в фонтане.

На картинах были изображены принцы и принцессы за различными приятными занятиями. Принцы походили на Карима, принцессы — на Китти. Все они были с ног до головы обвешаны драгоценностями. По словам Карима, большинство семейных драгоценностей исчезло очень давно; кстати говоря, сказал он, улыбаясь, имен-

но Наваб, которым я так интересовалась, и несет ответственность за их исчезновение. Ему всегда недоставало денег, неважно каким способом добытых. Он вел довольно разгульный образ жизни и участвовал во множестве скандалов, говорят, даже (возможно, я слыхала?) была какая-то история с англичанкой, женой представителя английских властей.

— Возможно, — сказала я и перешла к следующей картине. Это, объяснил Карим, основатель нашего рода Аманулла Хан (тот самый, что нашел убежище у Баба Фирдауша). На полотне он выглядел довольно солидно: в халате, расшитом цветами, в розовой чалме, с длинными усами и кальяном. Но, по словам Карима, картина изображала его в конце жизни, когда завоеваниям пришел конец после заключения перемирия с Восточно-Индийской компанией. До этого он в основном жил в седле, без всякого имущества — только сабля да шайка сопровождавших его разбойников.

— Тот еще был тип! — сказал Карим об Аманулле Хане с тем же восхищением, что и о Навабе. — Аманулла был невысокий, приземистый и кривоногий от вечной езды верхом. Все его боялись из-за взрывного характера. Он становил-

ся особенно вздорным, когда пил, и как-то раз, когда его собутыльник о чем-то с ним заспорил, Аманулла так рассвирепел, что выхватил саблю и отхватил бедняге руку. Вот так! О нем ходит много разных историй, и люди о нем до сих пор песни поют, народные и всякие. Семья наша с 1817 года существует, тогда мы стали Навабами, а уж если я когда-нибудь соберусь избираться в парламент, меня на руках туда понесут. Иногда я думаю, мне бы хотелось — в конце концов я индус и хочу служить своей стране и так далее, — но знаете, когда бы мы ни ездили в Хатм, у Китти начинается несварение из-за воды. Да и врача там как такового не найдешь, поэтому что же нам остается делать, приходится как можно скорее возвращаться в отель в Бомбее. Но теперь мы подумываем, не купить ли в Бомбее квартиру, раз уж мы взялись за это дело с Китом и Дорин. Китти занималась изучением древних индийских картин из Аджанты[13] и прочих потрясающих мест, ее эскизы будут основаны именно на них, так что мы и на самом деле будем служить нашей стране, правда? Посредством экспорта-импорта?

Он посмотрел на меня глазами, в которых была

[13] Примечания: 13

Аджа́нта — преимущественно буддистский храмово-монастырский пещерный комплекс в Индии в штате Махараштра.

глубина и тоска (точь-в-точь Индер Лал, как я позже обнаружила). Я больше не виделась с ним после той встречи, и, хотя я иногда думаю здесь о нем, очень трудно представить его или Китти в Хатме, или Сатипуре, или даже в тех частях Бомбея, которые мне удалось увидеть.

1923

Теперь за Оливией приезжал не Гарри, а машина с шофером. Гарри совсем разболелся. Он утверждал, что не может больше выносить ни эту жару, ни еду из кухни Наваба. Он вечно жаловался на расстройство желудка, несмотря на то что Наваб лично занимался заказами его блюд, и только повару, обученному европейской стряпне, было позволено их готовить. Но Гарри все равно не мог есть ничего из них.

Бóльшую часть времени он сидел в своих комнатах, куда Оливия приходила его навестить. Но и в ее присутствии его настроение не менялось: оставалось таким же плохим. Однажды он даже резко спросил ее:

— Дуглас ведь не знает, что вы приезжаете в Хатм? — И до того, как она нашлась с ответом, добавил: — Не надо вам приезжать. Не стоит вам здесь находиться.

— Это же Дуглас говорит и о вас, — ответила она. — Но мне кажется, вам здесь не так уж плохо.

Она бросила быстрый взгляд на его покои, давая понять, что́ имеет в виду. Наваб поселил Гарри в лучших гостевых комнатах. Они были отделаны мрамором, с решетчатыми окнами, выходившими на фонтаны и розовые сады. Их — специально для Гарри — обставили очаровательной европейской мебелью. Только картины на стенах были индийские. Они составляли часть семейной коллекции и в основном изображали эротические сцены: принцев, осыпанных цветами, принцесс, которых готовили к брачным утехам.

— А вы не обращали внимания на то, — спросил Гарри, — что вас никогда не водили познакомиться с бегум и ее дамами?

— Я их и так прекрасно знаю, благодарю вас, — Оливия через силу рассмеялась. — Нелегкая была встреча.

— Тем не менее, — сказал Гарри, — это невежливо.

— По отношению к кому?

— К вам, разумеется.

Они оба замолчали, а затем он сказал:

— Я с ним поссорился из-за этого… из-за вас. Я

прямо спросил его…

— О чем?

— Отчего вы не представите Оливию — то есть миссис Риверс — бегум? А он…

— Что он? — спросила она.

— Да ну, — сказал Гарри, — вы же знаете, как он себя ведет, когда не хочет отвечать. Смеется, а если настаивать, то сделает так, что вы чувствуете себя полным дураком, раз задаете подобные вопросы. Он очень хорошо это умеет делать.

— Я вовсе не хочу знакомиться с бегум, — сказала Оливия, играя браслетом, и добавила: — Я к *вам* сюда приезжаю, ну и к нему, конечно, то есть я имею в виду, как ваш друг. Ваш и его. С ними я ведь дружить не могу. С теми, чьего языка я не знаю… А здесь мне нравится. Мне нравится ваша компания. Ну, не смотрите так, Гарри. Вы сейчас ведете себя, как все остальные, будто мне *не понять*. Будто я не знаю Индии. Это правда, я ее не знаю, но причем здесь это? Люди ведь все равно могут дружить, пусть и в Индии. — Она проговорила это торопливо, не желая услышать его ответ, а просто заявляя о своей позиции, в правоте которой была уверена. Затем она спросила: — Ну, а что там за дела с этими бандитами, Гарри? Скажите, — повторила она, так как он

промолчал.

Он вздохнул и через некоторое время произнес:

— Честно говоря, я не знаю, Оливия. Постоянно что-то происходит, я стараюсь ничего не знать. Боже, как мне плохо. Ужасно.

— Желудок?

— И желудок тоже. И эта проклятая, проклятая жара.

— Здесь же прохладно. Чудесно.

— Но снаружи, снаружи! — он закрыл глаза.

Она подошла к окну. Солнце шпарило вовсю — золотой купол навабовой мечети испускал столбы слепящего света, но лужайки сияли зеленью, а в фонтанах, преломлявших солнечные лучи, сверкали искры света и водяные брызги. Вдали, за жемчужно-серыми стенами дворца, простирался город: череда жалких, сломанных крыш, а за ними — бесплодная земля, но зачем глядеть так далеко?

Вошел Наваб — на цыпочках:

— Я вам не помешаю? Пожалуйста, скажите, если это так, и я тут же исчезну. — Он испытующе и тревожно посмотрел на Гарри, а затем повернулся к Оливии. — Ну, как вы его находите? Как он вам? Я позвал врачей, но наши индийские

врачи ему не нравятся. Он считает их… как вы их назвали, Гарри?

— Шарлатанами.

— Глупости, — улыбнулся Наваб. — Доктору Пури из Чхатра Базара присудили степень в колледже Лудхианы, он очень квалифицированный…

— Знахарь, — сказал Гарри.

— Глупости, — снова улыбнулся Наваб. Он сел на краешек дивана, где лежал Гарри. — Нам нужно, чтобы вы быстро-быстро поправились. Нам вас не хватает. Без вас ужасно скучно, правда, Оливия? — И он повернулся, чтобы посмотреть на нее, словно укрывал и ее крылом своего тепла и заботы.

— Она спрашивала о бандитах, — сказал Гарри.

Глаза Наваба внимательно глядели на нее, и Оливия увидела в них выражение, которое он обычно прятал. Он изучал ее лицо еще несколько мгновений, а затем отвернулся.

Наваб мягко сказал:

— Надеюсь, Оливия, если вам что-нибудь захочется узнать, если что-нибудь вам покажется странным, вы спросите не Гарри или кого-либо еще, а только меня. — Он подался вперед: — Кто

с вами говорил? Что они вам сказали? Не таитесь. Если не скажете, как я смогу защититься от клеветы, которую используют против меня? Предоставьте же мне такую возможность.

Гарри сказал:

— О чем вы ее просите? Присылать вам отчет с Гражданских линий в Сатипуре? Шпионить для вас?

Наваб снова откинулся назад. Он опустил глаза, словно стыдясь. И кротко произнес:

— Надеюсь, вы так не думаете, Оливия.

Она тут же воскликнула:

— Конечно нет! Как вы могли подумать! — и с упреком взглянула на Гарри.

* * *

Воскресными вечерами Дуглас с Оливией обычно гуляли по кладбищу. Они бродили под руку по тропинкам среди могил, останавливаясь, чтобы прочитать надписи, и имена умерших постепенно стали им привычны. Оливия называла эти воскресные прогулки больничными обходами, а Дуглас чувствовал себя виноватым. Жаль, говорил он, что единственное развлечение, которое он может ей предложить — это прогулка по кладбищу.

— Подумай о Марсии, — горько сказал он, — в веселом Париже.

— Глупый, — Оливия прижала к себе его руку, — неужели ты думаешь, что я бы предпочла быть там?

Они стояли у могилы молодого лейтенанта Е. А. Эдвардса, командира 54-го батальона, погибшего 11 мая 1857 года вместе с пятью офицерами его подразделения. Ему было двадцать девять лет. Он стал особенно близким другом Оливии, так как ей нравилась надпись: *Солдат, всегда готовый выполнять свой долг, преданный сын, добрый и терпеливый отец, но более всего человек, внушавший любовь в качестве мужа.*

— Совсем как ты, милый, — сказала она Дугласу, снова прижимая к себе его руку. А потом добавила: — Правда, ты пока еще не добрый и терпеливый отец.

— Я им буду, — пообещал он.

— Конечно, будешь.

На самом же деле забеременеть ей никак не удавалось. Она уже начала беспокоиться, а вдруг что-нибудь не в порядке? В это ей не верилось, она была убеждена, что такой паре, как они, предназначено иметь детей, стать основателями прекрасной семейной ветви. И Дуглас тоже был

в этом уверен. Иногда ей казалось, что здесь кроются психологические причины — ее безумно пугали все эти маленькие дети на кладбище, умершие от оспы, холеры, брюшного тифа.

Ребенку Сондерсов она принесла немного цветов. Она встала на колени, чтобы положить их у ног итальянского ангела, а когда поднялась, лицо ее сияло; она взяла Дугласа под руку и прошептала ему на ухо:

— Я загадала желание… Как делают в храме Баба Фирдауша в День мужниной свадьбы. — Они улыбнулись друг другу, но затем Оливия снова посерьезнела и спросила: — Дуглас, что же там за история с этими бандитами?

— В Хатме действует банда. Они наводят ужас на ближайшие деревни, совершают налеты, грабят и даже убивают.

— Ужас какой, — сказала Оливия и добавила: — А *он-то* здесь при чем?

— Наш приятель? В том-то и дело. Все думают, что он с ними в сговоре и получает свою долю за то, что предоставляет им защиту.

— Быть не может, — сказала Оливия.

Дуглас посмеялся над ее наивностью. Они пошли дальше. Он показал ей еще несколько могил времен восстания, но ей уже стало неинтересно.

Она продолжала:

— Но ведь он *правитель.* Он не стал бы вот так связываться с бандой грабителей. В конце концов, он же принц. — Когда Дуглас снова рассмеялся, она сказала обиженно: — У него даже какой-то английский титул есть.

— Ну да, чего у него только нет… Смотри, вот еще один, убит 11 мая 57-го. *Лейтенант Питер Джон Лайл, Клифтон-колледж, Бристоль.* Наверное, пал в той же битве, что и лейтенант Эдвардс. В Сатипуре был бунт под руководством тогдашнего раджи Сатипура, который примкнул к мятежникам, за что потом очень дорого заплатил. Не то что его сосед по Хатму, прадед нашего приятеля, который сохранял «преданность», но прежде выяснял, *какой из сторон* выгоднее хранить преданность. Вот как он заполучил английский титул и прочие блага. Умен был.

Дуглас осторожно вырвал несколько сорняков из могилы лейтенанта Лайла. Их было немного: за могилами очень хорошо следили. Наняли постоянного смотрителя, и мистер Кроуфорд лично приезжал проверять, чтобы умершим англичанам отдавали должные почести.

— Помимо всего прочего, — сказала Оливия, наблюдая, как Дуглас вырывает сорняки, — ему ведь

не нужно иметь дело с грабителями. Глупости какие! Я имею в виду, он же богат… Пожалуйста, перестань.

— Но ведь тут сорняки.

— Боже мой, идем. Это место меня угнетает.

Дуглас поднялся и отряхнул пыль с брюк. Теперь он выглядел обиженным и сказал:

— Ты же говорила, тебе здесь нравится.

— Мне нравятся деревья.

Она повернулась и пошла от него по тропе. Ей не хотелось, чтобы он видел, как она сердилась на него и на погибших героев. Но у нее оставались вопросы, и она остановилась и подождала, пока он догнал ее.

— Что это за бандиты? — спросила она.

— Я не хочу об этом говорить. — Дуглас принял свой обычный строгий вид. Он смотрел прямо перед собой, как солдат на параде, и шел к выходу.

Теперь Оливия плелась сзади. Она снова остановилась у могилы ребенка Сондерсов и опустилась на колени, перекладывая цветы. Там она и осталась, Темнело, сгущались тени. Печаль наполнила ее сердце. Она не знала почему: возможно потому, что с ребенком у нее ничего не получалось. Она подумала, что, как только появится ребенок — здоровый, светлоголовый,

голубоглазый мальчик, — все станет хорошо. Ей будет покойно и с собой, и с Дугласом, и она сможет смотреть на мир его глазами.

— Идем же, — раздраженно позвал Дуглас. — Темно уже.

Она послушно поднялась, но в следующий миг — сама не знала, как это получилось, — снова опустилась на колени и закрыла лицо руками. Ангел мерцал над ней белым отблеском света. Последние птицы возились в листве перед сном, но больше не было слышно ни звука. Оливия тихо плакала. Затем она услышала хруст шагов Дугласа, двигавшегося по дорожке в ее сторону. Он молча остановился над ней и ждал.

— Прости, — сказала она спустя некоторое время, высморкалась и вытерла платком глаза. Поднялась, но Дуглас не стал ей помогать. Она вгляделась в его лицо, с трудом различая его черты в сгущающейся темноте, что мерцала над ней, как тот Сондеров ангел. Дуглас стоял застывший и прямой; он сказал:

— Тебе нужно было уехать в Симлу. Это жара тебя угнетает.

— Ах, вот в чем дело, — сказала она, радуясь оправданию.

15 июня. Одна из городских нищих — очень ста-

рая женщина. По крайней мере, выглядит очень старой, но, возможно, это из-за жизни в постоянной нужде. Она не просит милостыни, но когда голодна, то просто стоит с протянутой рукой. Я ни разу не видела, чтобы она с кем-нибудь разговаривала. Хотя живет она в городе, непохоже, что у нее есть постоянное место. Иногда я вижу ее в районе Гражданских линий, иногда у королевских усыпальниц, иногда у базара или проулков около него. Шаркая, она медленно перемещается с одного места на другое в своих лохмотьях, а когда устает, то садится на корточки или ложится, где попало, и прохожим приходится ее обходить.

Последние несколько дней я вижу ее в одном и том же месте. За нашим домом есть проулок, где живет наш мужчина-прачка (там же я видела танцующих евнухов). Несколько дней назад я отнесла ему кое-какую одежду, и, хотя точно сказать не могу, мне показалось, тогда старуха лежала именно там. Дело в том, что к ней так привыкаешь, что перестаешь замечать. Но когда я вернулась забрать одежду, точно ее заметила. Улица заканчивается куском земли, где живет в хижине человек с двумя буйволами. Рядом с его жилищем власти построили зацементированную свалку для мусора, но большинство жителей

не видят смысла в том, чтобы выбрасывать мусор в огороженном месте, поэтому он накапливается вокруг, образуя насыпь. Там я и увидела нищенку: она лежала прямо на краю этой насыпи. Сначала я решила, что она мертва, но потом поняла — вряд ли, ибо никто из жителей улочки не проявлял никаких признаков беспокойства. Животные, бродившие по насыпи, тоже не обращали на нее внимания. Лишь мухи вились над ней столбом.

Прачки не было дома, а его жена была по горло занята домашней работой, вдобавок она помешивала длинным деревянным шестом кипятившееся белье. Я заговорила с ней о нищенке, но у нее не нашлось для меня ни секунды времени. Как и у угольщика, который жил в проеме смежной стены. Как и у человека с буйволами. Они что-то рассеянно бормотали в ответ на мой вопрос: сколько времени она там лежит? Меня вдруг осенило, что женщина и в самом деле мертва, просто некому убрать тело. Мне тоже было все равно, поэтому я отправилась домой со своим бельем.

Позже я поразилась тому, что со мной произошло, — я даже не подошла проверить, жива ли она. Я рассказала о ней Индеру Лалу, но тот собирался на работу в контору. Я хотела, чтобы он

сходил со мной посмотреть на нее, и мы вышли из дома вместе. Он толкал велосипед с обедом в коробке, привязанной к раме. Несмотря на то что шел он с большой неохотой, я убедила его войти вместе со мной в проулок и сразу же увидела, что женщина лежит на том же месте. Мы остановились, чтобы посмотреть издали. Она жива? — спросила я Индера Лала. Он не знал и выяснять не собирался; и вообще ему нужно было идти, нельзя же опаздывать на работу. Я решила, что должна посмотреть, в чем дело, и, подступив ближе, услышала, как Индер Лал вскрикнул «Не надо!» и даже позвонил в велосипедный звонок в знак предупреждения. Я подошла к свалке и наклонилась над нищенкой: ее глаза и рот были открыты, она стонала и была жива. Стоял ужасный запах, и вилась туча мух. Посмотрев вниз, я увидела, что из-под нее течет тонкая струйка испражнений. Первой мыслью был Индер Лал: я замахала ему рукой, чтобы он отправлялся в свою контору. Хорошо, что он стоял на расстоянии. Я махала изо всех сил и с облегчением увидела, как он уходит: чистый, в тщательно выстиранной одежде и со свежеприготовленным обедом в сумке. Я ушла и, когда проходила мимо угольщика, сказала: она больна. Он рассеянно согласился. В

сводчатом проеме двери было видно, как прачка обедает в своем дворике. Его я побеспокоить не могла. Вообще казалось, что никого нельзя беспокоить, даже приблизиться. Впервые я поняла — почувствовала, — как индусы боятся заразы. Дома я тщательно вымылась, снова и снова обливаясь водой. Мне было страшно. Зараза — инфекция, — казалось, была везде, тамошние мухи могли запросто перенести ее.

Затем я отправилась в местную больницу, расположенную в конце города, у Гражданских линий. Именно в этом старом мрачном здании, которое слишком мало для потребностей города, и царил некогда доктор Сондерс. Стационарные и амбулаторные больные заполонили веранды, и коридоры, и даже газон. Я пошла прямо в кабинет главного врача — просторную, полную воздуха, прибранную комнату. Главный врач, доктор Гопал, тоже был очень аккуратен: привлекательный мужчина в белом халате, с нафабренными усами. Чрезвычайно вежливый, даже галантный, он привстал, приветствуя меня и приглашая сесть напротив его кресла. И письменный стол, и стулья были из прочного старого английского мебельного гарнитура, возможно, времен доктора Сондерса. Доктор Гопал с большим сочувстви-

ем выслушал мою историю и сказал, что если я привезу к нему эту нищенку, то они посмотрят, можно ли что-нибудь сделать. Когда я спросила, возможно ли отправить за ней карету «скорой помощи», он ответил, что, к сожалению, машина в ремонте, да и вообще она предназначена для экстренных случаев.

— Но это и есть экстренный случай.

Врач печально улыбнулся и погладил усы. Затем задал мне обычный вопрос: «А вы откуда будете?» Несмотря на то что он, несомненно, был очень занят, он готов был поговорить со мной подольше. У меня сложилось впечатление, что ему хотелось поупражняться в английском.

Вошли двое приходящих больных, у каждого в руке по бумажке. То были деревенские жители, с простыми лицами, в больших чалмах; бумажки они протянули доктору Гопалу. После его бесцеремонных вопросов выяснилось, что рецепты перепутаны и что Меер Чанд, страдающий от геморроя, принимал лекарство, выписанное Бакку Раму, у которого были камни в желчном пузыре. Врач быстро исправил ошибку и отпустил пациентов, которые ушли всем довольные.

Я спросила, часто ли такое случается.

— Конечно. Читать они не умеют, а больнич-

ный персонал не очень внимателен. Видите, какие у нас трудности. Если та женщина умирает, не привозите ее сюда, мы ничем не сможем помочь.

— Где же ей тогда умирать?

— Вы же видите, — снова сказал он. — К нашей больнице уже двадцать лет не могут сделать пристройку. Ни коек, ни персонала, ни оборудования, — продолжал он.

Списку трудностей не имелось конца. И снова было видно, что ему нравится со мной беседовать, отчасти чтобы потренироваться в английском — эта причина не вызывала сомнений, — но также и потому, что нашелся кто-то, кому он мог облегчить душу.

— Вы же видели, какие у нас пациенты, да мы и сами ошибаемся, это неизбежно. Мне нужны люди, я пишу заявления в трех экземплярах, хожу на прием к министру, а когда в конце концов мне присылают персонал, он никуда не годится. — По-английски он говорил бегло и выражался ясно. Что тут сказать — чувства его были глубоки, а жизнь нелегка. Он глядел на меня через письменный стол такими же глазами, что и Индер Лал, ища понимания.

Одно я осознала совершенно ясно: проблема

с нищенкой, захоти я взяться за дело, стала теперь моей. У всех остальных были свои дела. Я задумалась: что делать. Возможно, ее еще можно было вылечить, а раз это в принципе возможно, значит, необходимо доставить ее в больницу. Можно было нанять рикшу или повозку с лошадью и привезти. Но как положить ее на повозку? Придется мне самой ее поднимать, нечего было рассчитывать, что кто-нибудь еще рискнет к ней прикоснуться; к тому же предстояло убедить также и владельца повозки.

Я вышла из кабинета доктора Гопала и пошла через запруженные людьми коридоры. То и дело приходилось перешагивать через пациентов, лежавших на полу. Что же мы, оставим ее умирать? — спросила я тогда врача, уверенная в своей правоте. Но не настолько, как раньше. Появилась новая мысль, новое слово: эта старуха *ничего не значит.* Я сама себе удивлялась. Поняла, что меняюсь, становлюсь, как все остальные. Еще я подумала, что раз здесь живешь, то, может, и лучше быть, как все. Возможно, у меня и выбора нет: все, что меня окружает — и люди, и пейзаж, и одушевленные и неодушевленные предметы, — словно толкает меня стать такой же.

Возвращаясь домой из больницы, я проходила

мимо хижины Маджи, рядом с королевскими усыпальницами. Она сидела снаружи и подозвала меня. Посмотрев на меня, спросила, в чем дело. Я рассказала, и на этот раз говорила о происшедшем так же равнодушно, как и все остальные. И была потрясена ее реакцией, совершенно не похожей на бесчувствие других. «Как? — воскликнула она. — Леелавати? Неужели пришло ее время?» Леелавати! У нищенки было имя! Внезапно дело снова стало неотложным. Маджи вскочила и понеслась на базар с необычной для тучной и пожилой особы скоростью. Я поспешила за ней, показывая дорогу к свалке. Но когда мы прибежали туда, нищенки не было. Мы спросили и прачку, и торговца углем, и владельца буйволов, все пожимали плечами и говорили, что она ушла. Они полагали, что она, возможно, проголодалась и уползла куда-то просить подаяния. Мне было не по себе из-за всего поднятого мной шума, но Маджи сказала: «Я знаю, где она может быть».

Так же проворно она снова помчалась, работая локтями, чтобы бежать поскорее. Мы поспешили обратно на базар, затем прошли под воротами, где город заканчивался, и, наконец, добрались до водоема с камнями сати на берегу. «Ага!» — вскрикнула Маджи, увидев ее раньше меня.

Женщина лежала под деревом в той же позе, что и у свалки. Испражнения все еще текли, но уже совсем тоненькой струйкой. Маджи подошла к нищенке и сказала: «Вот ты где. Я тебя повсюду ищу. Что же ты меня не позвала?» Старуха глядела в небо, как мне показалось, уже невидящими глазами. Маджи села под деревом и положила ее голову к себе на колени. Она гладила ее своими грубыми крестьянскими руками и смотрела в гаснущее лицо. Старуха вдруг улыбнулась, беззубый рот приоткрылся с тем же блаженным выражением узнавания, что рот младенца. Смотрели ли еще ее глаза, видела ли она Маджи, склонившуюся над ней? А может, она просто чувствовала любовь и нежность? Как бы то ни было, эта улыбка казалась мне настоящим чудом.

Я села вместе с ними под деревом. В тот день с утра была сильная пыльная буря, и, как иногда бывает, воздух потом очистился, и теперь, в оставшиеся часы дня, все светилось. В воде резервуара, чистой, как небо, дрожали лишь отражения снующих зимородков и деревьев, то и дело роняющих в воду листья. В дальнем конце купались буйволы, погрузившиеся так глубоко, что только головы торчали над поверхностью воды. По берегу скакали тощие живые обезьянки,

перебираясь с камня на камень по месту поминовения сати.

— Видишь ли, — сказала Маджи, — я так и думала, что она сюда придет. — Она продолжала гладить лицо старухи не только с нежностью, но и с какой-то гордостью, словно та совершила что-то особенное. Маджи стала рассказывать о жизни этой старухи: когда она овдовела, ее выжили из дома свекра. Затем умерли ее родители и брат во время эпидемии оспы, оставив ее без дома и средств. Что же остается делать, сказала Маджи, когда тебя практически вышвыривают на улицу просить милостыню и жить на подаяние? В то время эта женщина не сидела на месте, а путешествовала от одного места паломничества к другому, так как там легче прокормиться нищим. Около десяти лет назад она пришла в город и заболела. Затем выздоровела, но слишком ослабела, для того чтобы продолжать путь, потому и осталась здесь. — А теперь она устала, — сказала Маджи, — пришло ее время. Все сделано. — Она снова провела рукой по лицу женщины с гордостью, словно та выполнила свой долг.

Сидеть там было очень приятно, у воды было прохладно, и мы бы остались надолго, но смерть не заставила себя ждать. Как только сияние ис-

чезло с неба и вода стала бледно-жемчужной, а птицы уснули в темной листве и лишь летучие мыши беззвучно носились черными тенями на фоне серебряного неба, в этот чудесный час она и скончалась. Я бы и не заметила, так как старуха уже давно не шевелилась. Не было ни предсмертных хрипов, ни конвульсий. Казалось, будто из нее выжато все, и ей больше ничего не оставалось, кроме как отойти в мир иной. Маджи была очень довольна, она сказала, что Леелавати хорошо справилась с жизнью и была вознаграждена достойным, благословенным концом.

1923

Однажды Оливия сказала Дугласу, что Гарри лежит больной в Хатме и что ей бы хотелось его навестить. «Да?» — сказал Дуглас и ничего более. Она приняла этот ответ за желанное разрешение: с сегодняшнего дня, решила она, Дуглас знает, что она ездит в Хатм, его уведомили. Больше не нужно будет торопиться обратно, чтобы опередить его. Если же он приедет домой раньше нее, она просто и честно скажет, что навещала больного Гарри в Хатме. Но Дуглас никогда не возвращался раньше; так получалось, что его задерживали в конторе все позже и позже, а когда он приходил

наконец домой, то был таким усталым, что почти сразу укладывался спать. Оливия долго не ложилась и сидела у окна, чтобы подышать прохладой. По утрам, когда он уходил, она еще спала: Дуглас выезжал рано, чтобы отправиться на проверку перед тем, как солнце станет слишком жарким.

Однако этим утром Оливия встала рано. Она пришла посидеть вместе с ним за завтраком (в комнате, где теперь почта), чего уже давно не делала. Оливия смотрела, как он ест ветчину и сосиски. Ее вдруг поразило, что лицо у него как-то отяжелело, стало более одутловатым, из-за чего он стал похож на других англичан в Индии. Она отогнала эту мысль, думать так было невыносимо.

— Дуглас, — сказала она. — Гарри никак не становится лучше.

— Да? — он нарезал еду на маленькие кусочки и медленно и флегматично жевал.

— Я думала, не попросить ли нам доктора Сондерса его осмотреть.

— Доктор Сондерс не занимается частной практикой.

— Но ведь он здесь единственный английский врач. — Когда Дуглас не отреагировал, она добавила: — А Гарри — англичанин.

Дуглас закончил завтракать и разжег утреннюю трубку (теперь он курил почти постоянно). Он дымил ею так же неспешно и флегматично, как и ел. Оливия любила эти его черты: невозмутимость, английскую крепость и силу, мужественность. Но теперь вдруг подумала: какая еще мужественность? Он даже ребенка мне не может дать.

Она воскликнула:

— Неужели тебе обязательно курить эту проклятую трубку? В такую жару?

Сохраняя спокойствие, он выбил трубку в пепельницу, осторожно, чтобы не запачкать скатерть, и, наконец, сказал:

— Тебе нужно было уехать в Симлу.

— И что бы я там делала? Гуляла с миссис Кроуфорд? Ходила бы на одни и те же скучные приемы, боже мой, — она закрыла лицо в отчаянии, — еще один званый обед и я просто лягу и умру.

Дуглас не ответил на эту вспышку и продолжал курить. В комнате было очень тихо. Слуги, убиравшие приборы после завтрака, тоже старались вести себя как можно тише, чтобы не мешать саибу и мемсаиб ссориться по-английски.

Через некоторое время Оливия виновато сказала:

— Даже не знаю, что со мной происходит.

— Я же говорю: жара. Ни одна англичанка к такому не приспособлена.

— Вероятно, ты прав, — пробормотала она. — Кстати, дорогой, я и сама бы хотела проконсультироваться у доктора Сондерса.

Дуглас посмотрел на нее. Лицо его, может, и изменилось, но глаза были так же ясны и чисты, как и прежде.

— Потому, что я никак, — она смущенно опустила глаза, — не могу забеременеть.

Он положил трубку в пепельницу (ее тут же услужливо опустошили), затем поднялся и прошел в спальню. Она пошла за ним. Они прижались друг к другу, и она прошептала:

— Я не хочу, чтобы все изменилось… Не хочу, чтобы *ты* изменился.

— Я и не меняюсь, — сказал он.

— Нет, не меняешься, — и она прижалась к нему крепче. Ей страстно хотелось забеременеть; ведь тогда все станет хорошо, он не изменится, она не изменится, и жизнь пойдет точно по плану.

— Подожди немного, — сказал он. — Все будет в порядке.

— Ты так думаешь?

— Я уверен.

Опершись на его сильную руку, она вышла вместе с ним наружу. Хотя еще стояло очень ранее утро, воздух был спертым.

— Жаль, что ты не уехала в Симлу, — сказал он.

— Так далеко от тебя?

— Тебе здесь совсем плохо. Этот ужасный климат.

— Но я чувствую себя прекрасно! — Она рассмеялась, потому что это была правда.

Он благодарно прижал к себе ее руку:

— Если у меня получится освободиться, мы поедем вместе.

— Ты думаешь, удастся?.. Не стоит ради меня, — сказала она. — Я и в самом деле… ничего страшного… я в порядке, — снова сказала она.

Ее мужество вызвало у него восхищенный возглас. Он хотел задержаться, но его конюх стоял с лошадью наготове, помощник — с бумагами, а слуга — с тропическим шлемом.

— Не выходи, — сказал Дуглас. Но она вышла. Оливия посмотрела на него снизу вверх, когда он сел в седло, а он взглянул на нее сверху. Этим утром ему было трудно уезжать.

— Я поговорю с доктором Сондерсом насчет Гарри, — сказал он.

Она махала ему рукой, пока он не пропал из виду. Слуга придержал входную дверь, но она ненадолго осталась снаружи поглядеть вдаль. Не в том направлении, куда уехал Дуглас, а в противоположном — на Хатм и дворец. Видно было повсюду одно и то же, так как все заволокло завесой пыли. Но то, что она сказала Дугласу, было правдой: она действительно чувствовала себя прекрасно, ее не беспокоили ни жара, ни духота. Казалось, будто в ней бил маленький родник, придававший ей бодрости и веселья.

Чуть позже она посмотрела на свои наручные часы (до приезда автомобиля Наваба еще оставалось время) и пошла к дому Сондерсов. Но доктор Сондерс уже уехал в больницу, и дома была только миссис Сондерс. Оливия удивилась, не застав ее в постели. Миссис Сондерс сидела в одной из своих комнат, напоминавших пещеру, и смотрела в пустой камин.

— Лучше не позволять им… слугам… видеть себя в постели, — объяснила она, понизив голос и бросив взгляд в сторону двери. — Я хотела бы полежать, мне в самом деле нужно быть в кровати, но как знать, что у них на уме.

Она продолжала вглядываться в камин (где даже решетки не было), словно там обитали злые

духи. Да и в самой комнате ощущалось что-то потустороннее: возможно, из-за мебели, которая не принадлежала Сондерсам, а была казенной и передавалась служащим из поколения в поколение. Изображения на стенах тоже провисели тут очень долго; в основном то были сцены времен восстания, на одной из них художник изобразил сэра Генри Лоуренса, убитого пулей в Лакхнау.

— Чего только не рассказывают, — сказала миссис Сондерс. — Вот, например, одна дама из Музаффарбада или откуда-то оттуда, родом вообще-то она из Сомерсета… — Она вздохнула, думая то ли о горькой судьбе этой дамы, то ли о далеком Сомерсете. — Ее *мужчина-прачка,* — прошептала миссис Сондерс, наклоняясь ближе к Оливии, — гладил ее нижнее белье и, видно, не совладал с собой. Они очень возбудимы, так уж они устроены. Я слышала, это из-за их пряной еды, уж не знаю, правда ли, но убеждена, у них одно на уме, как бы сами знаете что сделать с белой женщиной.

Оливия смотрела на нее. Миссис Сондерс мрачно покивала со знанием дела и оправила платье на тощей груди. Оливия почувствовала, как и ее собственная рука поправляет довольно низкий вырез бледно-коричневого шелкового платья.

Что за вздор! Она вскочила, пора было ехать, автомобиль Наваба вот-вот будет здесь.

Наваб посмеялся над предложением привезти доктора Сондерса осмотреть Гарри. Он сказал, что если бы нужен был европейский врач, то он, конечно, тут же послал бы за лучшим специалистом, если нужно — даже в Германию или Англию. Однако ради Оливии и Гарри он согласился отправить машину за доктором Сондерсом.

Доктор Сондерс, довольный и польщенный тем, что его пригласили во дворец, соединил кончики пальцев и начал сыпать медицинскими терминами. Он пыхтел, разглагольствуя, и от каждого слова волоски его усов пушились, словно от легкого ветерка. Наваб обращался с ним с той преувеличенной вежливостью, в которой Оливия уже давно научилась распознавать презрение; но доктор Сондерс, принимавший все за чистую монету, раздувался все больше в своем тесном чесучовом костюме. От вида этой пары, сидящей напротив друг друга: Наваба, почтительно наклонившегося вперед, и доктора, философствующего и все увеличивающегося в размерах, — Гарри давился смехом, и, глядя на него, Оливия тоже веселилась. Доктор Сондерс ничего не замечал,

в отличие от Наваба, который был доволен тем, что придумал такое прекрасное развлечение для друзей и настоял, чтобы доктор остался обедать.

За столом доктор достиг новых высот. Раскрасневшись от удовольствия, полученного от хозяйской еды и питья, он позволил вовлечь себя в разговор об Индии и индусах и поделился своими впечатлениями. У него оказалось в запасе множество подходящих историй, в основном из врачебной практики. Хотя Оливия уже слышала большую их часть, она присоединилась к Гарри, которого забавляло то, как Наваб подзадоривал доктора.

— А что же вы сделали потом, доктор?

— А потом, Наваб-саиб, я велел позвать этого молодца в свой кабинет и без дальнейших разговоров устроил ему взбучку.

— И очень правильно сделали, доктор, очень правильно. Вы подаете хороший пример.

— С ними нельзя по-другому, Наваб-саиб. Спорить бесполезно, они не склонны рассуждать логически. У них здесь все не так устроено, как у нас.

— Совершенно верно, доктор. Вы попали прямо… во что, Гарри?

— В яблочко.

— Вот именно. В яблочко, — Наваб серьезно кивнул.

Вскоре Оливии стало не смешно. Доктор Сондерс был откровенно глуп, и шутка затянулась. Гарри это тоже наскучило. Как обычно, Наваб мгновенно почувствовал, что обстановка переменилась. Он отбросил салфетку и сказал:

— Оливия, Гарри, идемте. — Бесцеремонно оставив доктора в столовой, он повел их наверх, в комнаты Гарри. Там он бросился в кресло, и, откинув голову назад, наконец, громко расхохотался. И обиделся, когда они к нему не присоединились:

— Я так старался вас развеселить, — пожаловался он.

— Это же просто жестокое обращение с животными.

— Но он *нас* назвал животными, — заметил Наваб.

— Он просто старый зануда, — буркнул Гарри. — Зачем вы только его позвали?

— Это все *она*, — сказал Наваб, указывая на Оливию. А когда она смутилась, примирительно заметил: — Он не зануда, наоборот, довольно забавен. «Мы, врачи, чувствуем себя дома в Англии», — проговорил он, соединив кончики пальцев и раздувая воображаемые усы. Было не

очень похоже, но Оливия и Гарри из вежливости засмеялись. Сначала он был доволен, но затем настроение у него испортилось, и он сказал с отвращением: — Вы правы. Он — зануда. Да уж, не стоило его приглашать, давайте от него избавимся.

Оливия почувствовала необходимость сказать:

— Он и в самом деле исключительно высокомерен. Не судите обо всех по нему.

Наваб холодно взглянул на нее:

— Кого не судить?

— Всех нас.

— Кого «нас»? — спросил ее Гарри тоже враждебно.

Оливия ощутила, что попала в затруднительное положение. Именно так она чувствовала себя на обеде у Кроуфордов, не зная, чью сторону принять.

— Не знаю, что вы об этом думаете, — продолжал Гарри, — но не нужно сравнивать меня с ними.

— Но Гарри, ведь Кроуфорды, например… они совсем не такие, как доктор Сондерс, вы это прекрасно знаете. Или чета Миннизов. Или, раз уж на то пошло, Дуглас и…

— И вы?

— Все одинаковые, — неожиданно и решительно отрезал Наваб.

Оливия была потрясена, неужели он и ее имеет в виду? Включил ли он и ее в эту группу? Она посмотрела ему в лицо, и ее испугали чувства, так явно отражавшиеся на нем; ей было невыносимо быть их причиной, даже частичной, она бы сделала все, чтобы это не имело к ней отношения.

— Я отошлю его, — сказал Наваб, громко подзывая слуг. Он распорядился, чтобы доктора Сондерса посадили в автомобиль и отправили домой.

— Да, и заплатите, заплатите ему, — сказал он. — Вот *ты* — заплати. Просто дай ему денег, он возьмет, — приказал он слуге и засмеялся. Тот тоже засмеялся, оценив оскорбление, наносимое доктору Сондерсу, которому заплатит слуга.

— Пожалуй, я тоже пойду, — сказала Оливия, глотая слезы.

— Вы? — вскричал Наваб. — С ним? — он был возмущен. — Вы думаете, я позволю вам сесть в одну машину с *ним*? Вот что вы думаете о моем гостеприимстве? И моей дружбе? — Казалось, он был оскорблен до глубины души.

— Но мне пора ехать домой, и раз уж есть машина… — запротестовала Оливия, смеясь и снова

чувствуя себя беззаботной.

— Значит, будет другая машина. Десять машин, если нужно. Пожалуйста, сядьте. Что это мы грустим, когда нужно веселиться? Гарри! Оливия! Ну что же вы! Мне вчера сон приснился, это вас рассмешит, о миссис Кроуфорд. Нет, погодите, она была не миссис Кроуфорд, она была хиджрой и делала вот так. — Он хлопнул в ладоши, как в танце, и громогласно расхохотался. — С ней была целая труппа, они пели и плясали, но ее я сразу заметил. Она и в самом деле похожа на хиджру, — сказал он.

— А что это такое? — спросила Оливия.

Наваб снова рассмеялся.

— Я вам покажу, — сказал он.

Тогда-то он и позвал прислуживающих ему молодых людей и приказал привести евнухов. Они пели и плясали, и Оливия чудесно провела время.

* * *

20 июня. Перед самым муссоном жара становится очень сильной. Говорят, чем она сильнее, тем обильнее будут дожди, поэтому все хотят, чтобы шпарило изо всех сил. Да и к тому времени ее *принимаешь* — не привыкаешь, а именно

принимаешь; и потом, ни у кого не остается сил с ней бороться — все примиряются и терпят. Есть и небольшие преимущества. Чем жарче, тем слаще манго и арбузы, тем крепче пахнет жасмин. Дерево гул мохар, раскинув ветви, как танцор, распускается изумительными алыми цветами. На рынке появляется самое разнообразное мороженое, и стаканчики, в которых его подают (может, и не самые чистые), доверху наполнены колотым льдом, тоже не очень чистым, но кому какая разница?

В воскресенье мы с Индером Лалом отправились к храму Баба Фирдауша на пикник. Это я предложила поехать, но, когда мы сидели, обливаясь потом в автобусе, трясясь по полыхавшему пространству, мне пришло в голову, что это было не самой лучшей идеей. Выйдя из автобуса, мы вскарабкались по каменистой, совершенно голой и не защищенной от солнца тропе, что вела в рощу, но, оказавшись там, вы словно попадали в рай. Солнце не проникало сквозь листву, и маленький источник струил прохладу и свежесть. Индер Лал сразу же улегся под деревом, я же пришла в такой восторг от этого места, что отправилась прогуляться. Ничто не напоминало о том времени, когда я побывала здесь впервые (в День

мужниной свадьбы) — тогда деться было некуда от паломников и громкоговорителей. Теперь роща словно замерла, лишь журчала вода, были слышны птицы и редкий шелест листьев. Я ополоснула лицо и руки в источнике, таком мелком, что можно было коснуться ледяных камешков на дне. Рассмотрев храм, я увидела, что это очень незамысловатая постройка, со сводчатым входом и небольшим полосатым куполом, похожим на половинку арбуза. Внутри храм был щедро побелен, видимо, к каждому празднику стены и потолок второпях покрывали свежим слоем краски; решетчатое окно пестрело красными нитями, которые привязали молящиеся. Гробницы не было — местонахождение Баба Фирдауша во время его смерти осталось неизвестно, — но в центре стоял небольшой надгробный камень. На нем лежало несколько цветочных гирлянд, в основном увядших, но и одна-две — свежих. Место казалось таким заброшенным, полным такой тишины и одиночества, что было удивительно: кто мог оставить здесь цветы?

Когда Индер Лал проснулся, я достала принесенные бутерброды. Он никогда раньше не пробовал бутербродов, но ел с интересом, как всегда с удовольствием узнавая что-то новое.

Другим новшеством для него стала поездка на прогулку с одной спутницей вместо обычной толпы родственников и друзей. Он сказал, что ценит беседу, которая возможна только с глазу на глаз, когда каждый может поделиться тем, что у него на душе. Я ожидала откровений, но он лишь задавал из битые вопросы об английских пикниках. С любопытством слушая мои ответы, он продолжал допытываться о мелочах «Для моего сведения», — говорил он. Он часто пользуется этим выражением, когда расспрашивает меня о чем-то. Кажется, он получает огромное удовольствие от сбора ненужной информации, которую затем хранит, чтобы воспользоваться ею в будущем. Его мать так же поступает с вещами. Я видела, как она благоговейно подбирает и разглаживает выброшенные мной обертки от шоколада, пробки, пустые бутылки, лоскутки. Она припрятывает их в огромный сундук, и когда я спрашиваю, для чего, то очень удивляется. Для нее — и для него — каждый обрывок полезен или может стать таковым в будущем.

— Смотри, что я принес, — сказал Индер Лал.

Он вытащил два обрывка красной нити и сказал, что нам нужно привязать их к решетке храма, и тогда исполнятся наши желания. Сняв

сандалии, мы вошли в храм. Индер Лал первым привязал свою нить, чтобы показать мне, как это делается, затем закрыл глаза и изо всех сил пожелал чего-то.

— Я думала, это только для бесплодных женщин, — сказала я.

— Все желания будут услышаны, — сказал Индер Лал. — Теперь твоя очередь. — Он протянул мне мою нить и, с интересом наблюдая, сказал ободряюще: — Можно и вслух загадывать. Если человек один или с близким другом.

Вместо ответа я указала на свежую гирлянду, лежавшую на каменном кургане:

— Кто, по-твоему, положил ее туда? Не похоже, что здесь недавно были люди.

— Люди все равно будут приходить, даже в такие места, как это, даже в сердце пустыни, за тысячу миль отовсюду… А что ты загадала? — спросил он.

Я улыбнулась и вернулась на наше место под деревом. Индер Лал пошел за мной.

— Ну, скажи, — упрашивал он, снедаемый любопытством.

— А как ты думаешь? — но он стеснялся сказать. Теперь мне стало любопытно, что он имел в виду.

— Ну откуда же мне знать, — отбивался он. — Я же не волшебник и не умею читать чужие мысли. Но если ты мне скажешь, — добавил он лукаво, — то и я тебе скажу.

— Давай угадывать.

— Ты первая, — ему нравилась эта игра.

Я притворилась, что пытаюсь изо всех сил сосредоточиться, пока он с нетерпением смотрел на меня.

— Мне кажется, — наконец сказала я, — что это как-то связано с твоей конторой.

Его лицо тут же вытянулось в изумлении и испуге:

— Как ты узнала?

— Просто угадала.

Я тут же пожалела об этом. Индер Лал погрустнел, игра ему разонравилась. Когда я сказала, что теперь его очередь, он уныло покачал головой. Поглощенный своими невзгодами, он потерял интерес к моим желаниям.

Но теперь мне хотелось, чтобы ему было интересно. Мне очень хотелось, как он сказал, открыться кому-то. Но ведь это трудно, даже если собеседник полностью осведомлен о ваших делах, да и как признаться *ему* — кому все мои трудности совершенно чужды! Пожелай я

что-нибудь определенное — мужа, например, ребенка или избавления от врага, — я бы с радостью поделилась с ним. Но на самом деле хоть я и повязала свою нить рядом с остальными, ничего такого мне в голову не пришло. Не то чтобы моя жизнь была так совершенна, что и желать нечего, совсем напротив, в ней отчаянно не хватало необходимого, и *одним* желанием заполнить пустоту было невозможно.

Однако в ту минуту у меня было желание, и очень сильное: желание близости. И поскольку словами этого было не выразить, я накрыла его руку своей. Теперь он взглянул на меня совершенно по-другому. Не осталось ни следа пропавшего интереса! Но что это было, сказать трудно. Я чувствовала, как его рука дрожит под моей, а затем увидела, что и губы у него дрожат. То ли потому, что он собирался что-то сказать, то ли от желания или страха. Страх точно был в его глазах, когда он посмотрел на меня. Он не знал, что теперь делать и что буду делать я. Я видела, — это было нелепо! — все, что он когда-либо слышал о западных женщинах, вихрем пронеслось у него в голове. В то же время он был здоровым молодым человеком, жена находилась в отъезде, а мы были наедине в романтическом месте, которое

с наступлением заката становилось все романтичнее. А так как следующий шаг был за мной, я сделала его, и Индер Лал не замедлил с ответом. После он пошутил так же, как Наваб, что́ именно произошло здесь в настоящий День мужниной свадьбы, дабы бесплодная жена понесла.

1923

Однажды Гарри прибыл на машине, посланной за Оливией. Она была готова тут же ехать, но он попросил разрешения немного отдохнуть перед обратной дорогой. Он все сидел и сидел и, похоже, готов был провести так весь день. Несколько раз Оливия говорила:

— Если мы вскоре не выйдем, будет слишком жарко.

— Сыграйте что-нибудь, — сказал он, указывая на пианино. — Пожалуйста, я сто лет вас не слышал.

— А потом мы поедем, — стала торговаться она.

Она села за пианино и заиграла с обычным усердием. Она играла Дебюсси, и Гарри, откинув голову на спинку желтого кресла, прикрыл глаза и постукивал ногой от удовольствия. Но скоро она заиграла быстрее и сбилась, раз или два кла-

виша застряла, и Оливия нетерпеливо ударила по ней. Наконец, она сдалась:

— Я совершенно не в форме. Давайте же, Гарри, нужно ехать.

— А почему вы не в форме?

— Сейчас слишком жарко, чтобы играть. И потом, вы же слышите, в каком состоянии инструмент? — Она снова ударила по испорченной клавише. — Не подходит этот климат для пианино, вот и все. Поднимайтесь, Гарри, пора.

— Вы могли бы найти настройщика. В Бомбее.

— Не стоит. Я теперь почти не играю.

— Как жаль!

Он сказал это с таким чувством, что Оливия задумалась. Почему она перестала играть? Она никогда раньше не задавалась этим вопросом, думала, что просто очень жарко или у нее нет настроения. Но была еще какая-то причина, и она пыталась уловить, какая именно.

— Дебюсси, — сказала она, — Шуман. Это как-то… не подходит, — и рассмеялась.

— Мне подходит, — сказал Гарри.

— Здесь?

— А почему бы и нет? — Гарри оглядел комнату и повторил. — Почему нет? Вы здесь так чудесно все устроили. Просто чудесно. — Он уселся

поудобнее, словно вообще не намеревался уходить. — Оазис, — сказал он.

— Опять вы за свое, — она начала сердиться. — Не понимаю, кому вообще нужен оазис. Какая в нем надобность?

— Боже ты мой, — сказал он, — вы такая несгибаемая, Оливия, кто бы мог подумать… Да вы и не болеете никогда, верно?

— Конечно нет. С чего мне болеть? — В ее голосе зазвучало пренебрежение. — Это все психика.

— Вчера мне снова было так плохо. А ведь местной пищи я не ел уже несколько недель. Не знаю, в чем дело.

— Я же говорю: дело в психике.

— Возможно, вы правы. Я и в самом деле чувствую, что с моей психикой не все в порядке. Откровенно говоря, — он снова прикрыл глаза, но теперь от боли, — мне кажется, что я больше не выдержу. — Судя по голосу, это было правдой.

Оливия рада была бы посочувствовать ему, но не могла справиться с нетерпением. Ей так хотелось ехать! А он просто сидел, без малейшего желания и пальцем шевельнуть. Из той половины дома, где жили слуги, донеслось молитвенное пение и удары барабана, и то и другое звучало на одной ноте — совершенно монотонно.

— Какое-то воспаление мозга, — сказал Гарри.

— Что?.. Ах, это. Я больше не слышу. Это уже несколько дней продолжается. У них там всегда что-то происходит, то кто-то умирает, то рождается, то замуж выходит. Может быть, поэтому я и не играю теперь. То есть, я имею в виду, одно с другим как-то не вяжется… Гарри, нужно ехать, иначе мы умрем от жары по дороге.

— Я не поеду, — сказал Гарри.

На мгновение она растерялась. Голос у нее задрожал:

— А как же машина?

— Отошлем обратно.

Оливия уставилась на носки своих белых туфель. Она сидела совершенно неподвижно. Гарри наблюдал за ней, но она притворялась, будто не замечает. Наконец он сказал:

— Что с вами, Оливия? — он говорил очень мягко. — Почему вам так хочется ехать?

— Нас ждут. — Услышав со стороны, как нелепо это звучит, она еще больше рассердилась на Гарри. — Вы же не думаете, что мне нравится сидеть здесь день за днем, глядеть на стены и ждать, пока Дуглас вернется с работы? Теперь я вижу, что так и с ума можно сойти… Как миссис Сондерс. Сидеть дома и представлять себе бог знает что. Я

не хочу превратиться в миссис Сондерс. Но если буду сидеть дома одна, то именно это и случится.

— Поэтому вам нравится ездить во дворец?

— Дуглас знает, что я езжу во дворец. Он знает и о том, что доктор Сондерс там был — он сам с ним говорил, — и что я вас навещаю.

— Вот именно, *меня.*

Эта фраза повисла в воздухе и не исчезла даже после того, как Оливия ответила:

— Вы просто ревнуете, Гарри, вот в чем дело. Ну конечно! — она рассмеялась. — Вы хотите быть единственным, я имею в виду — во дворце, единственным гостем. — Последние слова она проговорила быстро, но недостаточно быстро. Покраснев, она поняла, что запуталась.

— Ну что ж, — сказал Гарри. — Поедем.

Он поднялся и двинулся к двери, надевая тропический шлем. Теперь уже ей захотелось повременить с выходом — из гордости или из желания доказать свою невиновность. На мгновение она заколебалась, но в конце концов обнаружила, что и того и другого у нее недостаточно. Она быстро последовала за Гарри к автомобилю.

Путешествие было неприятным, и не только из-за жары и пыли. Они едва разговаривали, словно сердились друг на друга. Хотя Оливия во-

все не сердилась на Гарри и раз или два пыталась заговорить с ним, но с таким же успехом могла бы этого не делать. Она не в силах была произнести вслух то, что так ее тревожило, из страха сказать больше, чем собиралась, или — что Гарри поймет ее неправильно.

Вдруг Гарри сказал:

— А вот и он.

Поперек дороги стояла красная спортивная машина с открытым верхом. Когда они подъехали, Наваб в клетчатой кепке и мотоциклетных очках встал в машине и начал жестикулировать, как регулировщик движения. Они остановились, и он сказал:

— Где же вы были? Я жду и жду.

Он выехал им навстречу, так как хотел посмотреть храм Баба Фирдауша. Сидеть взаперти утомительно, объяснил он. Наваб пригласил их перебраться к нему в машину, которую вел сам. Когда Гарри сказал, что ему не хочется и что он лучше поедет домой, Наваб, не тратя на него времени, сказал:

— Поедемте, Оливия.

Она тоже не стала тратить время попусту и села рядом с Навабом. Они поехали в одном направлении, а шофер повез Гарри — в другом. Видно было,

как он сидит один, бледный и недовольный, на заднем сидении лимузина.

— Что это он такой сердитый? — спросил Оливию Наваб. — Вы думаете, он болен? Ему плохо? Он вам что-нибудь говорил?

Наваб действительно очень беспокоился и большую часть пути говорил о Гарри. Говорил, что знает, как Гарри тоскует по дому и хочет вернуться в Англию, чтобы повидать мать, и он, Наваб, желал бы, чтобы тот поехал, но в то же время («Оливия, вы понимаете, или, как по-вашему, это очень эгоистично?») никак не мог расстаться с ним.

— Я вижу, вы считаете меня очень эгоистичным, — заключил он печально.

Она знала, что возражать нет необходимости. Ей была отведена роль слушательницы, и ее это устраивало. И потом, можно было иногда украдкой посматривать на него, сидящего рядом за рулем, в кепке и очках.

— Я частенько готов был сказать ему: «Гарри, ваша мать мечтает, чтобы вы вернулись домой, и вы тоже, поэтому езжайте». Иногда я так ему и говорил. Но когда все было готово, каюта зарезервирована и вещи собраны, я в последний момент ломался. Не мог перенести разлуки. И приходил

его черед говорить: «Я останусь...» А теперь мы выйдем и пойдем пешком, вам будет не слишком жарко, Оливия?

Он повел ее за собой вверх по каменистой тропе к могиле Баба Фирдауша. Он продолжал говорить, а она слушала и даже не чувствовала палящего солнца.

Он сказал:

— Есть люди, чье отсутствие делает жизнь невыносимой. Как-то я спросил одного аскета из Аджмира (очень святого человека): «Почему именно эти люди? Почему они, а не другие?» Мне очень понравился его ответ: «Это те, кто однажды сидел с тобой рядом в раю». Красивая мысль, правда, Оливия? Будто мы однажды сидели рядом в раю.

Они пришли к роще. Наваб раздвинул перед ней ветви, и они вошли. Но из храма тут же высыпали какие-то люди. Оливия замерла от ужаса. Вооруженные мужчины потрепанного вида на мгновение свирепо уставились на Наваба и Оливию. Но секундой позже, осознав, кто перед ними, пали перед Навабом ниц.

Наваб велел Оливии сесть под деревом. Она смотрела, как он разговаривает с ними — непринужденно, как с хорошими знакомыми. Головоре-

зы же стояли перед ним с выражением смирения и восхищения на лицах. Она была уверена, что это бандиты. Она рассматривала их: выглядели они точь-в-точь, как средневековые разбойники, но никто из них ни разу не осмелился бросить взгляд в ее сторону. Наваб их быстро отпустил и позвал ее в храм.

— Поглядите, что я принес, — сказал он.

И показал две красные нити. Сначала Оливия привязала свою нить, а затем он — свою. После он спросил:

— Чего же вы пожелали?

— А разве можно рассказывать?

— Только если вы вдвоем… Вы знаете, зачем женщины сюда приходят? О чем просят? Вы о том же попросили?

— Да, — ответила она.

— А…

Они помолчали, а затем он сказал:

— Предрассудки все это. Хотя, может, и правда. Вполне возможно: существует множество историй о здешних чудесах. Вы слышали историю о Дне мужниной свадьбы? Это, конечно, ненаучно, и образованные люди, вроде нас с вами…

— Но нити ведь мы повязали.

— Это так, для развлечения.

— А кто были те люди?

Он не сразу ответил, а когда ответил, то вопросом на вопрос:

— А как вы думаете? — Он бросил на нее проницательный взгляд, а затем рассмеялся: — Полагаю, вы думаете, что это плохие люди. Вы, наверное, много историй слышали, правда? И вы им верите. — И снова она почувствовала, что не должна ни оправдываться, ни отвечать ему. — Но если это и в самом деле правда, — продолжал он, — то, полагаю, вряд ли они такие уж плохие, подумайте, зачем они сюда приходили. — Он указал на каменный курган в храме: там лежали свежие цветочные гирлянды и еще дымились палочки благовоний. — Видите, не со злым умыслом они пришли, а помолиться.

Он посмотрел на нее, словно проверяя, как она отзовется. Но она никак не отозвалась — она была целиком поглощена своими физическими ощущениями. Рощу окружала огромная стена жары, тут и там проникавшей сквозь листву. Они остались вдвоем, и довлеющее присутствие Наваба теперь магнетизировало только ее.

— Идемте, — сказал он. — Посидите со мной.

Они сели на ступени, ведущие в храм. Наваб заговорил с ней мягким, убеждающим голосом:

— Возможно, они и вправду были преступниками, но все же, понимаете, они пришли сюда помолиться и попросить о чем-то своем. Как и мы с вами. — Он немного помолчал, как будто давая ей время осмыслить истину его слов, а может, чтобы она ощутила единство, возникшее между ними. — Вот теперь, когда мы уйдем отсюда, вы поедете домой, в Сатипур, и скажете: «Да, мол, Наваб — дурной человек, теперь я сама имела случай в этом удостовериться, он встречается с бандитами, он с ними на короткой ноге». Скажете ли вы так, Оливия?

Теперь он ждал ответа, и она не стала медлить.

— Неужели вы в самом деле думаете, что я так скажу? — произнесла она с таким искренним возмущением, что его это удовлетворило. Он почтительно коснулся ее руки кончиками пальцев.

— Нет, не думаю, — сказал он. — Поэтому я и открываюсь вам и все рассказываю… Прошу вас, не думайте, что я хочу слышать о себе только похвалы — дескать, какой я достойный и благородный человек. Конечно нет. Мне бы хотелось быть достойным и благородным — нам всем нужно к этому стремиться, но я понимаю, как далек от цели. Очень, очень далек, — сказал он обескураженно.

— А кто близок! — откликнулась Оливия. Он коснулся ее руки так же, как раньше. Ей одновременно хотелось и чтобы Наваб убрал руку, и чтобы сделал это снова.

— Вы правы. Все мы далеки. Но некоторые люди, и таких немало, — он сделал паузу, давая ей возможность догадаться, кого он имел в виду, — они берутся судить других: это, мол, хорошо, а это плохо, — как будто они всеведущи. Кто такой майор Минниз, откуда у него право говорить, что мне можно делать, а чего нельзя? Мне! — сказал он, указывая на себя и как бы сам себе не веря. — Навабу-саибу Хатма. — На мгновение он словно потерял дар речи.

Вам известно, как мы получили титул? Произошло это в 1817 году. Мой предок, Аманулла Хан, сражался долгие годы. Иногда воевал за махратов, иногда за раджпутов, моголов, британцев. Неспокойные были времена. Он скакал со своими людьми повсюду, где шли сражения, сулившие добычу. Им всем нужно было на что-то жить! Временами, когда ему не хватало денег платить воинам, они восставали против него, и ему приходилось бежать не от врагов, а от собственных людей, представляете? Но когда ему сопутствовала удача, они возвращались, и к

ним присоединялись другие. Вот и получалось, что иногда он оказывался наверху, а иногда — в самом низу. Такая уж была у него жизнь. Оливия, я ему завидую. Его имя нагоняло ужас на всех, включая британцев! Когда укротить его никакими средствами не удавалось, его звали в сообщники. О, они были такими хитрыми, всегда знали, как извлечь выгоду. Ему предложили земли и доходы Хатма, а также титул Навабов. Поскольку он тогда был совсем обессилен, то согласился, принял титул и осел здесь. Потому что устал. — Наваб помрачнел. — Но и сидя во дворце, можно устать. Уж лучше остаться без гроша, но сражаться с врагами и убивать их. Как будто ничего лучше и быть не может. Как вы думаете, Оливия, разве не лучше встретить врагов лицом к лицу, чем позволить им замышлять всякое у вас за спиной и распространять о вас клевету? Я думаю — лучше! — воскликнул он, внезапно разволновавшись.

Оливия протянула руку и положила ладонь ему на грудь, словно успокаивая. Наваб и вправду успокоился и сказал:

— Вы так добры ко мне. — И крепко прижал ее руку к груди, Оливия ощутила всю силу его притягательности — ничего похожего она никогда

не испытывала ни в чьем присутствии. — Послушайте, — сказал он, — однажды принц Марвар чем-то его рассердил. По-моему, подал ему опиум не в той чаше или что-то подобное — в общем, сущий пустяк, но Аманулла Хан был не из тех, кто спокойно переносит оскорбления. Не то, что я. — Когда она начала было возражать, он сказал: — Мне приходится, что же делать! Я бессилен… Так вот, он устроил пир для этого принца и его вассалов. Поставили специальную палатку, и, когда все было готово, гости прибыли на пир. Аманулла Хан поприветствовал своего врага у входа в палатку и сердечно обнял его. А когда приглашенные вошли внутрь, он подал тайный знак своим людям перерезать веревки, и принц Марвар со всей своей ратью запутался в холсте. Они угодили в ловушку, словно звери, а Аманулла Хан и его люди выхватили кинжалы и стали вонзать их в ткань палатки, пока никого из врагов не осталось в живых. У нас все еще хранится эта палатка, и кровь на ней так свежа, Оливия, словно это произошло вчера.

Должно быть, он почувствовал, что Оливия пытается убрать ладонь с его сердца, и прижал ее к себе крепче. Теперь Оливии было не ускользнуть, даже если бы она хотела. — Не здесь, — сказал он.

Наваб увел ее от храма, и они легли рядом под деревом. После он пошутил: — Вот в чем тайна Дня мужниной свадьбы.

— Зачем же ты заставил меня повязать нить? — спросила она.

А он все смеялся и смеялся, довольный ею.

* * *

31 июля. Маджи сообщила мне, что я беременна. Сначала я ей не поверила — невозможно знать так рано, даже если это правда, но она была совершенно уверена. Более того, она предупредила, что мне следует быть начеку, ибо скоро все повитухи города начнут предлагать свои услуги. Они всегда знают, сказала она, гораздо раньше всех. Они узнают по тому, как женщина двигается и держится. Это их промысел, и у них всегда ухо востро: ищут клиентуру. Несомненно, сказала она, скоро они выйдут на меня.

Она говорила так убежденно, что я начинала ей верить. Я полагала, что у нее есть как бы второе зрение: мне всегда казалось, что она наделена какими-то недоступными обычным людям способностями. Однажды у меня болела голова, и Маджи положила ладонь мне на лоб. Не могу описать то странное ощущение, которое я ис-

пытала. И длилось оно несколько дней. Поэтому я решила, что Маджи больше ничем не может меня удивить, пока она как-то не упомянула вскользь, что знает о моей беременности, так как сама когда-то была акушеркой. Это изумило меня больше, чем если бы у нее и вправду обнаружились сверхъестественные способности.

Моя реакция ее рассмешила. А как я полагала, она что — всегда вела такую праздную жизнь? Ничего подобного. Она была замужем и родила несколько человек детей. К сожалению, муж зарабатывал мало, предпочитал выпивку и ошивался с друзьями у бара, так что семейное бремя легло на нее. Мать и бабка у нее были повитухами, и обе научили ее всему, что умели сами. (Я подумала, что ее мать и бабка могли быть теми самыми женщинами, что помогали Оливии! Вполне возможно.) После смерти мужа, когда дети стали самостоятельными, она оставила свою профессию и провела несколько лет, путешествуя и обучаясь в святых местах. В конце концов, она вернулась сюда, в Сатипур, и построила себе хижину. С тех пор о ней заботились друзья, приносившие ей еду, так что беспокоиться ей совершенно не о чем. Дети живут далеко, но иногда то один, то другой приезжают ее навестить или

присылают письма.

Я была так удивлена ее рассказом, — мне и в голову не приходило, что у нее была мирская жизнь, — что совершенно забыла о том, что она сказала обо мне самой. Маджи сама мне напомнила — положила руку мне на живот и спросила, что я намереваюсь делать. И добавила, что поможет, если я захочу; я сначала не поняла, о чем это она, и только когда она повторила, догадалась, что речь идет об аборте. Она сказала, что я могу ей довериться и что, хотя практиковала она много лет назад, она прекрасно помнит все, что нужно, об этих вещах. Аборт можно произвести несколькими способами, и за время практики она испробовала их все. Без этих умений нельзя быть акушеркой в Индии, так как во многих случаях это единственный способ спасти людей от бесчестия и страданий. Она рассказала мне о разных случаях, когда делала аборты именно по этой уважительной причине, и мне было так интересно, что я снова забыла о себе. Но потом, по пути домой под дождем — начались муссоны, — я задумалась. Тогда мне было, пожалуй, просто весело и любопытно, и я перепрыгивала через лужи, стараясь не попадать в них, и смеялась над собой, когда все равно ступала и брызги летели

на меня.

15 августа. Вернулся Чид. Он так изменился, что я его сначала не узнала. На нем больше не было оранжевой хламиды, теперь он приобрел пару брюк цвета хаки, рубашку и ботинки. Четки и плошка для подаяний тоже исчезли, а сбритые волосы начали отрастать коротенькой щетиной. Из индуистского аскета он превратился в то, что можно определить лишь как мальчика-христианина. Преображение это было не только внутреннего свойства. Он стал очень тихим и не просто перестал напевно бормотать, но и вообще почти перестал говорить. Вдобавок, он снова хворал.

Кроме походов в уборную, Чид большую часть времени спит в углу моей комнаты. Он ни словом не обмолвился о том, как и почему он расстался с матерью Индера Лала и Риту. Я также не имею ни малейшего понятия о том, что с ним произошло и почему повлекло за собой такую перемену. Говорить он об этом не хочет. Все слова, на которые он способен, сводятся к фразе: «Не выношу этого запаха». (Я-то знаю, о чем он — о запахе людей, которые живут и едят по-другому; я раньше всегда его замечала, еще в Лондоне, когда оказывалась вблизи индусов в переполненных автобусах или

вагонах метро.) Чид больше не переносит индийскую пищу. Он ест только безвкусную отварную еду, а больше всего ему нравится, когда я варю ему английский суп. Запах местных кушаний исторгает у него самый настоящий вопль отвращения — так сильно его тошнит.

Индер Лал в нем страшно разочарован. Он все ждет, что вот-вот вернутся возвышенные религиозные порывы, но у Чида ничего не осталось от прежних увлечений. В любом случае, его возвращением Индер Лал недоволен. Должна объяснить, что со времени того пикника у храма Баба Фирдауша, мои отношения с Индером Лалом изменились. Теперь он по ночам приходит ко мне в комнату. Для соседей делает вид, будто ложится спать внизу, но, когда стемнеет, потихоньку пробирается ко мне. Я уверена, что все всё знают, но это не имеет значения. Никому нет дела. Люди понимают, что он одинок и тоскует по семье, а без семьи никто жить не должен.

После того как Чид снова поселился у меня, Индер Лал поначалу стеснялся своих ночных визитов. Но я убедила его, что в них нет ничего страшного, так как Чид почти все время спит. Он просто лежит себе и стонет, и невозможно поверить, что это тот самый человек, который

так изводил меня когда-то. Индер Лал и я лежим в моей постели с другой стороны, и быть с ним становится все восхитительнее. Теперь он мне полностью доверяет и обращается со мной очень нежно. Мне кажется, он предпочитает быть со мной в темноте. Тогда ничего не видно, и все остается только между нами двоими. Я также думаю, что ему помогает и то, что он меня *не видит,* — я прекрасно знаю, что моя внешность всегда была для него камнем преткновения. Во тьме он может об этом не думать, да и стыдиться других не приходится. Он способен совершенно потерять голову, что часто и происходит. Я имею в виду не только физическую сторону дела, хотя и ее тоже, но все его существо, всю его нежность и игривость. В такие мгновения я вспоминаю о многочисленных историях, которые рассказывают о Кришне-ребенке и его шаловливых выходках. А еще я думаю о своей беременности как о части его существа. Но ему я еще о ней не говорила.

Я *пыталась* сказать. Специально зашла за ним в контору и повела через дорогу, на британское кладбище, так как это было самое укромное место, которое пришло мне в голову. Место это его совершенно не интересовало, он никогда и не думал заглядывать сюда. Единственное, что

произвело на него впечатление, это итальянский ангел Сондерсов, который и сейчас возвышается над остальными могилами, — но не в кротком благословляющем жесте, а лишь в виде безглавого и бескрылого туловища. Индера Лала его увечье ничуть не смутило. Вероятно, ему оно показалось естественным — он вырос среди безруких Апсар и безголовых Шив, сидящих верхом на том, что оставалось от их быков. В этом обличье ангел утратил свой итальянский вид и приобрел индийский.

Я показала ему могилу лейтенанта Эдвардса и прочла надпись: «Добрый и терпеливый отец, но более всего человек…»

— Это означает, — объяснила я Индеру Лалу, глядя на него, — что лейтенант был хорошим мужем и отцом. Как ты.

— А что делать? — последовал странный ответ.

Мне кажется, он имел в виду, что у него нет выбора, кроме как быть хорошим мужем и отцом, раз уж он оказался заброшен на эту жизненную сцену, хотел он того или нет. Вообще-то, думаю, не хотел. В любом случае, о своей беременности я решила ему не говорить. Не хочу ничего портить.

1923

Когда Оливия узнала, что беременна, Дугласу она ничего не сказала. Она все откладывала и откладывала, и в конце концов получилось так, что сначала она сказала Навабу.

Однажды утром, приехав во дворец, она увидела, что все куда-то спешат, носят какие-то вещи, пакуются и дают друг другу противоречивые указания. Даже Гарри собирал вещи у себя в комнате и, похоже, был в хорошем расположении духа. Он объяснил, что они наконец едут в Массури — бегум решилась вчера вечером. Одна из ее придворных дам занемогла, и ей порекомендовали смену обстановки; вот бегум и заявила, что поедут все. Она посчитала, что и Гарри это пойдет на пользу, уж очень она о нем беспокоилась.

— Вот как? — сказала Оливия. — Вы часто с ней видитесь?

С того самого дня, когда Гарри отметил, что путь на женскую половину дома для Оливии заказан, о бегум они не говорили. Но Оливия знала, что Гарри там принимают как близкого человека.

— Каждый день, — сказал он. — Мы играем в карты, ей нравится. — Он сменил тему. — Наваб тоже говорит, что ему здесь наскучило, поэтому

сегодня собираются все.

— Наскучило?

— Так он сказал. Но за этим кроется что-то еще, — он нахмурился, продолжая тщательно упаковывать вещи.

— Что же еще?

— Не знаю, Оливия. — Хотя говорил он с неохотой, ему, видимо, нужно было облегчить душу. — Ничего определенного он мне не сказал, но я чувствую: что-то висит в воздухе. Майор Минниз, кстати, сейчас у него. Вы видели его машину у дворца? Я боялся, что вы столкнетесь на лестнице.

— А что тут такого? Я навестить вас приехала.

— Ну да, — он продолжал собираться.

Она нетерпеливо его прервала:

— Перестаньте же, Гарри, и скажите, что происходит. Мне нужно знать. — Стоя по-прежнему на коленях, он повернулся и глянул на нее так, что она тут же поправилась: — Мне бы хотелось знать.

— Мне тоже, — сказал Гарри. Он перестал возиться с чемоданом и сел рядом с ней. — А может, и не хотелось бы. Иногда мне кажется, что лучше ничего не знать.

Они замолчали. Оба смотрели вниз на сад че-

рез раму решетчатого окна. В водных каналах, перечеркивающих лужайки, отражалось небо, которое двинулось и поплыло под парусами облаков.

Гарри сказал:

— Я знаю, что у него масса неприятностей. Уже сколько лет это продолжается. Финансовые сложности — Хатм разорен, да еще и вся эта история с Сэнди и Кабобпурами, которые жалуются на него каждому встречному и пытаются затеять судебную тяжбу по поводу ее приданого. Конечно, из-за этого он делается все более непримиримым и рвется ответить на их выпады, хотя и не может себе этого позволить. Из Симлы тоже веет враждебностью, я знаю, что у него было несколько очень неприятных бесед с майором Миннизом. *Терпеть не могу,* когда майор сюда приезжает. — Он залился краской и, казалось, не хотел продолжать, но снова заговорил: — Потому что после этих визитов он всегда очень расстроен. Сами увидите, когда он поднимется наверх. Обычно он на мне отыгрывается — не подумайте, что я жалуюсь, боже упаси, — я рад, если ему от этого легче. Я ведь вижу, как ему больно. Он очень-очень чувствителен, Оливия, и потом, когда майор Минниз так с ним разговаривает,

угрожает…

— Да как все они смеют! — вскричала Оливия.

— Понимаете, он лишь небольшой владетель, им не обязательно с ним осторожничать, не то что с семьей Кабобпуров. А он это чувствует. Он знает, кто он такой по сравнению с остальными. Видели бы вы старого Кабобпура, просто отвратительная свинья, ничего благородного. Ну а *он,* конечно…

— О да.

Они услышали его голос, его безошибочно узнаваемые шаги на лестнице. Оба ждали. Наваб ворвался без стука, что было на него непохоже: в обычных обстоятельствах он всегда входил в покои гостей со всей возможной учтивостью. Но сейчас он был очень возбужден. Он сразу прошел к окну и сел, кипя гневом.

— Я поговорю лично с вице-королем, — сказал он. — С Миннизом или с кем другим толковать бесполезно. Все равно что со слугами. Я со слугами не общаюсь. — У него раздувались ноздри. — В следующий раз я откажусь принять его. И порву все письма, которые у него хватит наглости мне присылать, а ему отправлю обрывки. — Он повернулся к Гарри: — И *вы* их ему отвезете. Швырнете в лицо и скажете, что таков мой ответ. Впрочем,

вряд ли вы согласитесь. — Тут он бросил гневный взгляд на Гарри, который сидел, опустив глаза. Оливии тоже не хотелось смотреть на Наваба.

— Боитесь, да? Боитесь майора Минниза и других, ему подобных, тварей? Отвечайте! Не сидите, как пень, отвечайте! Оба вы с майором хороши. Не знаю, ради чего вы здесь со мной живете. Вам нужно быть с ним и с остальными англичанами. Вы только им сочувствуете, а мне — ни капли.

— Вы же знаете, что это неправда, — Гарри изо всех сил старался говорить спокойно и разумно.

Это привело Наваба в еще большую ярость. Он повернулся к Оливии:

— Теперь он со мной англичанином притворяется. Такой уравновешенный и тихий, никогда не теряющий присутствия духа. В майора Минниза играет. Совсем не такой, как эти ужасные восточные люди. Оливия, вы их тоже ненавидите и презираете? Конечно. И правильно. Потому что мы все — недоумки со всякими эдакими чувствами, нас можно топтать в свое удовольствие. Англичанам повезло — они лишены чувств. Посмотрите на него, — сказал он, указывая на Гарри. — Он уже столько лет рядом со мной и что же? Значу ли я что-нибудь для него? Видите, даже возражать не пытается. — Наваб сидел у окна,

и его профиль вырисовывался на фоне садов и неба: истинный портрет правителя на фоне владений: — И вам, — сказал он Оливии. — Вам тоже все равно.

— Вот как? Тогда зачем я здесь?

— Приехали навестить Гарри. Вам с ним хочется проводить время. И я очень благодарен вам за то, что вы так хорошо к нему относитесь, без вас ему здесь было бы совсем скучно и одиноко. Да и здоровьем он слаб. — Он поднялся, подошел к Гарри и любовно коснулся его плеча.

Гарри сказал:

— Это невыносимо.

— Понимаю. Я — невыносимый человек. Майор Минниз прав.

— Я не это имел в виду.

— Но это правда.

Он вышел, и Оливия последовала за ним. Когда он спускался по лестнице, она окликнула его по имени, чего никогда не делала раньше. Он остановился и взглянул на нее удивленно.

Оливия подбежала к нему, и, когда они встретились на ступеньках, она еще совершенно не представляла себе, что ему скажет, После, размышляя обо всем случившемся, она пришла к выводу, что говорить о беременности тогда не

собиралась. Но именно это она и сделала. Говорить пришлось, понизив голос, да и он не мог слишком уж откровенно демонстрировать свои чувства, так как во дворце на каждой площадке рядом находились слуги, а за занавесями вечно сновали придворные дамы.

После этого было бы нечестно не сказать Дугласу, и она сказала тем же вечером.

На следующий день она ждала Дугласа и майора Минниза, который был приглашен на ужин; но около восьми Дуглас прислал посыльного с запиской, в которой предупреждал, что они опоздают. Опять что-то стряслось, но он не стал объяснять что. Оливия ждала их на веранде. Она ждала весь день, но не Дугласа — а весточки из дворца. Не дождалась. И ума не могла приложить, что случилось: все должны были отправиться в Массури, но не уехали же они, не повидавшись или не написав ей? Она уже решила, что если они поедут, то поедет с ними. А Дугласу скажет, что не в силах больше выносить жару и ей срочно нужно перебраться в горы. Сидя здесь в одиночестве, ожидая неведомо чего, Оливия поняла, что не сможет здесь остаться.

Но когда Дуглас с гостем в конце концов приехали, она постаралась справиться со своими

расстроенными чувствами и играть отведенную ей роль. Она сидела за обеденным столом между белыми свечами в кружевном платье — тоже белом и болтала с ними о вечеринке с шампанским на Каме, куда они однажды попали с Марсией, и там перевернулась одна из лодок. Все это время она чувствовала, как напряжены и встревожены оба мужчины — не меньше, чем она сама. Когда она оставила их наслаждаться бренди и сигарами, до нее по-прежнему доносились их взволнованные голоса, а когда они присоединились к ней на веранде, то оба были мрачнее тучи.

— Скажите же, что случилось? — умоляюще спросила она.

Они заговорили с неохотой (майор Минниз выразил сожаление о том, что это испортит им всем настроение). Конечно, опять Наваб. Его бандиты, вместо того чтобы держаться своей территории — Хатма, забрались на землю, подведомственную мистеру Кроуфорду. Ограбили деревню в каких-нибудь пяти милях от Сатипура и улизнули с наличными и драгоценностями. Никто не погиб, но с несколькими местными жителями, которые попытались спрятать свои ценности, обошлись довольно жестоко. Одной женщине отрезали

нос. Как только отчет о происшедшем достиг Сатипура, мистер Кроуфорд и Дуглас известили майора, и тот немедля приехал во дворец. Наваб отказался его принять.

— Но ведь они все уехали в Массури, — сказала Оливия. И осторожно добавила: — Гарри мне сказал, я его вчера видела.

— Они были готовы уехать, но, как обычно, бегум передумала, — сказал майор Минниз. — Уж не знаю, что было на этот раз, по-моему, кто-то услышал сову, что, конечно, ничего хорошего не предвещает, тем более перед путешествием, так что всем пришлось снова распаковаться.

Оливия нарочито засмеялась — якобы над плохой приметой. Она обрадовалась — камень свалился с души: они не уехали, они здесь!

Майор Минниз сказал:

— Меня совершенно не удивил его отказ принять меня: к сожалению, вчера у нас был довольно трудный разговор. Очень его… расстроивший.

— Какая дерзость, — гневно сказал Дуглас. — Надеюсь, в Симле больше не станут с ним церемониться.

— Похоже, не станут. Жернова в Симле вращаются медленно, но мелют очень мелко. Боюсь, что именно из-за того, что я представил ему дело

в определенном свете, он и пришел в ярость.

— И это вас удивило? — спросила Оливия.

Она почувствовала, как майор Минниз смотрит на нее из темноты веранды. Кончик его сигары тлел, когда он затягивался.

— Нет, — спокойно ответил он.

Дуглас же кипел от негодования:

— Пора его проучить.

— Ты говоришь о нем, как о школьнике! — воскликнула Оливия.

Майор Минниз, справедливый и благоразумный, казалось, хотел их умиротворить.

— В каком-то смысле, — сказал он, — он хороший человек. У него есть достоинства, ах, если бы только они совмещались с выдержкой и самодисциплиной… — И снова Оливия почувствовала его взгляд в темноте, а он продолжал: — Почему-то я им восхищаюсь. Думаю, и вы тоже.

— Да, — сказала Оливия.

Он кивнул:

— Вы правы. Нет, — сказал он, когда Дуглас начал было возражать, — давайте по-честному. Он — сильная, волевая личность, и при других обстоятельствах я бы уважал его, — теперь, казалось, он обращался только к Оливии. — Как вам известно, я уже много лет имею с ним дело,

и порой случались, не буду отрицать, большие неприятности.

— Еще какие! — воскликнул Дуглас, не в силах сдержаться. — Он представляет опасность для самого себя, для нас и для несчастных подданных своей несчастной земли. Худший вариант индийского правителя, худшего не сыщешь.

— Возможно, вы правы. Даже несомненно правы, — сказал майор. Он надолго замолчал, задумавшись, и, наконец, сказал, неторопливо, словно желая признаться: — Иногда мне кажется, я не гожусь для Индии. Мы с Мэри это обсуждали. Не то чтобы на каком-либо этапе карьеры я думал о смене работы. Отдать эту должность другому — нет, ни за что! — сказал он со страстью, удивившей Оливию. — Но я прекрасно понимаю, что часто переступаю границу.

— Границу чего? — спросила Оливия.

— Другого измерения, — он улыбнулся, дабы не произвести слишком серьезного впечатления. — Похоже, я позволил себе увлечься. Вот Наваб, например, — не могу отрицать, он меня привлекает. Как я уверен, и вас, — повернулся он к Оливии.

— Боже, дорогая, — рассмеялся Дуглас, — в самом деле?

— Ну, как сказать, — Оливия тоже засмеялась в ответ, — он и в самом деле привлекателен. И потрясающе хорош собой.

— Правда? — спросил Дуглас так, словно никогда не воспринимал Наваба в таком свете.

— Еще бы, — сказал майор. — Он принц. Другого слова не подберешь. Жаль только, что владения его не соответствуют его амбициям и не могут удовлетворить его денежных нужд.

Дугласа это начинало забавлять:

— И что же, он совершил вооруженный грабеж из-за недостатка денег?

— И еще я думаю, что ему невероятно скучно, — продолжал майор. — Такому человеку, как он, нужно действие, ему нужна арена. Всегда заметно, когда он особо раздосадован: начинает говорить о своем предке Аманулле Хане.

— Бандите, — сказал Дуглас.

— Он был бандитом? — спросила Оливия майора.

— Ну, искателем приключений во времена авантюристов. Вот чего нашему приятелю не хватает — приключений. Не того он типа человек, чтобы во дворце сидеть; а может, ему и не хочется быть человеком такого типа. Но это все, что у него есть, и более того, ничего другого он

никогда не видел.

— Что же ему еще остается! — сказал Дуглас.

— Я знал его отца, — сказал Оливии майор. — Ну и фрукт! Большой был любитель танцовщиц, пока не побывал в Европе и не обнаружил, что имеется еще и кордебалет. Нескольких девиц привез с собой, и одна из них осталась с ним на долгие годы. Она жила в той комнате, где сейчас этот, как его…

— Гарри?

— Старый Наваб, кстати, там умер. У него случился удар, когда он был с ней… Большой знаток поэзии урду. Каждый год в Хатме бывало большое сборище — приезжали лучшие поэты со всей Индии. Старый Наваб и сам был неплохой поэт, вечно сочинял двустишия — погодите, может вспомню…

Мгновение спустя майор начал читать их на ласкающем слух урду — звучало очень красиво. Оливия смотрела вверх на небо, изборожденное рябью муссонных облаков, среди которых медленно плыла луна. И думала о своем.

— «Капли ли это росы или слезы? О Луна, твой серебристый свет все обращает в жемчуг», — перевел майор и извинился: — Боюсь, по-английски звучит не так.

— Так никогда не получается, — согласился Дуглас. В темноте он взял руку Оливии и стиснул ее. Майор продолжал читать на урду. Под его звучный и торжественный голос Дуглас шепнул жене:

— Все хорошо, милая? — Она улыбнулась в ответ, и он прижал к себе ее руку. — Ты счастлива? — спросил он, а когда она улыбнулась снова, поднес ее ладонь к губам. Майор продолжал читать, ничего не замечая и глядя в небо; его голос был полон чувства — смеси благоговения и тоски. Потом он вздохнул: — Прямо дрожь пробирает, — сказал он. — До самых костей.

— В самом деле, — вежливо сказала Оливия. Ни стихи, ни чувства майора ее не тронули. Ничего в них не было особенного. С презрением вспомнила она слова майора о том, что он якобы зашел слишком далеко. Да что он знал об этом! Не думал же он, что нагоняющее тоску чтение стихов при луне и значит «зайти слишком далеко»! Она громко рассмеялась при этой мысли, и Дуглас, думая, что смеется она от счастья, тоже почувствовал себя счастливым.

— А вы знали, что старый Наваб умер прямо в этой комнате? — спросила Оливия Гарри.

Гарри спросил:

— А что еще вам известно?

— Что была еще какая-то танцовщица…

Он рассмеялся, а затем рассказал остальное. После смерти старого Наваба бегум не разрешила девушке покинуть дворец, пока та не вернет всего, подаренного ей Навабом. Девица — по словам Гарри, крепкий орешек из Йоркшира — попыталась кое-что припрятать, но недооценила соперницу. В один прекрасный день — а точнее, однажды ночью — танцовщица появилась в Сатипуре, и из всего ценного на ней была только одежда (атласная ночная сорочка и японское кимоно). Она была вне себя от ужаса и заявила, что бегум хотела ее отравить. Налоговый инспектор и его жена, почти поверив ей, приложили все усилия, чтобы ее успокоить, пообещали отправить в Бомбей и посадить на следующий же пароход домой. Но когда они предложили послать во дворец за ее одеждой и вещами, у девушки началась истерика — она умоляла их этого не делать. Она рассказала им историю о подвенечном наряде, который дарили нежеланной невесте в семье: стоило несчастной жертве надеть корсаж из золотой парчи, как он прилипал к телу и ядовитые масла проникали в кожу. Девушка клялась, что это правда, старый Наваб сам ей рассказывал;

и все усилия спасти невесту оказались тщетны — она погибла, корчась в муках. Старуха, готовившая смертельный наряд, была все еще жива и обреталась во дворце. В женской половине за ней все ухаживали в ожидании, когда она передаст свое искусство другим. «Вы понятия не имеете, что там творится», — содрогаясь, сказала танцовщица. Никому не удалось убедить ее, что боится она понапрасну, и, хотя бегум сама прислала ее чемоданы, девушка отказалась к ним прикоснуться и уехала в Бомбей, одевшись в то, что ей удалось одолжить у английских дам в Сатипуре.

Оливия улыбалась, слушая эту историю:

— Она просто с ума сошла. Эти старушки во дворце… А обо мне они знают? — спросила она как бы невзначай.

— О чем именно? — отозвался Гарри.

Оливия редко думала о женщинах во дворце. Иногда ей казалось, что занавеси наверху шевелятся, но она не смотрела вверх. Наваб никогда не говорил с ней о матери. Оливия понимала, что бегум принадлежит другой части его жизни и занимает более важный уголок в его сердце, и это придавало Оливии гордости и упрямства — она тоже не собиралась говорить о его матери или даже признавать ее существование.

Наваб же был с ней нежен, как никогда раньше. Он присылал за ней каждый день и не скрывал их отношений. Он даже брал ее иногда в собственную спальню, где она раньше не бывала. Оливия следовала за ним, куда бы он ни звал ее, и делала все, чего бы он ни пожелал. Она тоже ничего не скрывала. Вспомнив, как Гарри однажды сказал, что Навабу невозможно отказать, она поняла, что это правда, Наваб был в восторге от ее беременности. Он часто гладил ее стройные бедра, небольшой, плоский пока живот и спрашивал: «Ты и правда сделаешь это для меня?» Казалось, это его поражает. «Тебе совсем не страшно? Какая же ты храбрая!» Его удивление забавляло ее.

Наваб ни на секунду не сомневался, что это его ребенок. Он был настолько уверен, что Оливия, которая постоянно задавалась этим вопросом, не осмеливалась заговаривать на эту тему. Он стал настоящим собственником, и каждый вечер, когда приходило время отвозить Оливию домой, старался задержать ее, даже умолял остаться подольше. Это было невыносимо, и ей, в свою очередь, приходилось умолять его отпустить ее. Он говорил: «Хорошо, уезжай», и так мрачнел, что с каждым разом уезжать делалось все труднее. Но выбора у нее не было. С ужасом она ждала того

дня, когда настанет время уезжать, а он скажет: «Останься».

И однажды он сказал: «Нет. Останься. Останься со мной, навсегда». А затем добавил решительно: «Уже совсем скоро. Тебе лучше быть здесь».

Оливия знала, что, если бы она спросила: «А как же Дуглас?», ответом стал бы пренебрежительный жест, ибо, по его мнению, Дуглас уже был не в счет.

Однажды в воскресенье из Амбалы приехал английский капеллан и провел службу в маленькой церкви. По окончании Оливия и Дуглас задержались во дворе — они здесь не бывали с той самой ссоры. Теперь все выглядело по-другому. Хотя солнце жарило по-прежнему, деревья — уже не пыльные, а мокрые — роняли на землю зеленую влагу. Дожди смыли пыль с могил, и теперь буквы отчетливо выделялись на их фоне, а в трещины между камнями проросли пучки травы.

Дуглас, шагая между могил, зачитывал уже знакомые надписи. Он так увлекся, что пошел слишком быстро, и Оливии пришлось окликнуть его. Оглянувшись, он увидел, как она идет к нему в розовато-лиловом платье с воланами и таким же зонтом. Он поспешил навстречу и обнял ее прямо посреди могил. Они пошли вместе рука об

руку. Он рассказывал ей об этих молодых людях, похороненных здесь, и о других его предках, лежавших на кладбищах в других местах Индии. «Отличные ребята», — сказал он. Среди них был Эдвард Риверс, один из команды молодых администраторов Генри Лоуренса в Пенджабе, и Джон Риверс, настоящий зверь, известный своим хладнокровием, погибший при падении с лошади в Мирате, и тезка Дугласа, предыдущий Дуглас Риверс, который был убит во время восстания. Он участвовал в штурме Кашмирских ворот, где погиб герой Дели — Джон Николсон. Предок Дугласа умер от ран на следующий день после смерти Николсона и был похоронен рядом с ним на кладбище в Дели. Дуглас сказал это с таким чувством, что Оливии захотелось его подразнить:

— Ты говоришь так, словно завидуешь ему.

— Ну что ж, — смущенно сказал Дуглас, — это неплохой конец… Лучше, чем спиться, — добавил он, переходя на более легкомысленный тон. — Некоторые из них так и кончали свои дни. Сидеть одному в округе может здорово наскучить.

— Одному — в окружении нескольких миллионов индусов? — не удержалась Оливия, но тут они как раз приблизились к ангелу Сондерсов, и обеспокоенный Дуглас постарался отвлечь ее

внимание. Он прижал ее голову к своему плечу И не отпускал, пока они не прошли это место и не подошли к могиле лейтенанта Эдвардса. Здесь он заставил ее остановиться, потому что могила была в тени. Они постояли под сенью дерева.

— «Добрый и терпеливый отец», — прочитал Дуглас. Он повернулся поцеловать Оливию и пробормотал:

— Ты бы предпочла солдата или гражданского?

— А откуда ты знаешь, что это будет он?

— Ничуть не сомневаюсь… Он совершит что-нибудь стоящее, вот увидишь.

Дуглас снова поцеловал ее и провел руками по стройным бедрам и плоскому животу.

— Ты не боишься? — прошептал он. — Ты и правда сделаешь это для меня? Какая же ты храбрая.

Он думал, что ее расстроила могила Сондерсов. А может, само кладбище плохо на нее повлияло? Кладбища нагоняют мрак, особенно на женщин в ее положении. И как это часто бывало в его обращении с ней, самой утонченной и хрупкой из всех, кого он знал, он обозвал себя неуклюжим болваном и поспешил увести ее оттуда.

* * *

20 августа. У Дугласа и правда родился сын, но не от Оливии, а от второй жены, Тесси. Этот сын (мой отец) появился на свет в Индии и жил там до двенадцати лет, пока его не отправили в школу в Англии. Он так и не вернулся в Индию — к тому времени, когда он достаточно повзрослел, возвращаться было уже незачем; вместо этого он занялся антиквариатом. В пору индийской независимости Дуглас, только что достигший пенсионного возраста, вернулся домой вместе со всеми. Они с Тесси серьезно обсуждали, что лучше: уехать или остаться доживать свой век в Индии. Некоторые их знакомые решили остаться — те, кто, как и они сами, прожили тут лучшую часть жизни и полюбили эту страну всем сердцем. Сестра Тесси Бет и ее муж купили очаровательный домик в Касоли, где собирались осесть и, как они думали, провести остаток дней. Но через несколько лет стало ясно, что жить там совсем не так приятно, как прежде. Национализация Индии, конечно, была очень нужна, говорили Кроуфорды, как всегда здравомыслящие и умеющие смотреть на дело со всех сторон, но нужна она была индусам, а не самим Кроуфордам. Они тоже вернулись в

Англию и купили дом в Суррее, достаточно близко от Дугласа и Тесси, чтобы часто их навещать. После того как обе женщины овдовели, бабушка Тесси переехала жить к тетушке Бет и привезла с собой любимые вещи, удвоив таким образом количество медных столиков и слоновьих бивней. Пока это было возможно, они поддерживали отношения с друзьями в Индии — Миннизы, например, жили в Ути, но постепенно все умерли один за другим или слишком состарились, чтобы поддерживать связь. Я бы с удовольствием их навестила, раз уж я, наконец, добралась сюда, но, думаю, никого не осталось в живых.

Я попыталась поговорить об этом с Чидом, полагая, что ему это может быть интересно, но — увы! Его семья никогда не имела ничего общего с Индией, и, насколько ему известно, он первый, кто когда-либо побывал здесь. Теперь ему не терпится уехать. Но его состояние, похоже, не улучшается, и вчера я убедила его пойти со мной в больницу. Доктор Гопал, главный врач, осмотрев его, тут же сказал, что кладет его. Чид согласился, не знаю, что было у него на уме, возможно, он представлял себе, как будет возлежать на прохладных белых простынях в побеленной комнате под неусыпным наблюдением сестер. На

самом деле, все вышло не так. Врач вызвал одного из подчиненных и спросил, есть ли свободные койки. Таковых пока не было, но одна должна была вот-вот освободиться, так как умирал один старик. Он и в самом деле за это время умер, и я помогла Чиду дойти до палаты и лечь в постель.

27 августа. Я навещаю Чида каждый день, чтобы ему не было скучно, и приношу еду. Больничную еду, которую выдает санитар, черпая ее из ведра и обходя палату, он есть не может. Больные сидят рядами, вытянув миски, куда им швыряют комки холодного риса с чечевицей, иногда смешанные с овощами. Только крайне нуждающиеся едят эту пищу, которую выдают со всем возможным презрением, причитающимся тем, у кого нет ничего и никого.

Один такой бедняга со сломанной ногой и ребрами лежит рядом с Чидом. Он рассказал мне, что приехал в Сатипур из своей деревни несколько лет назад и жил на то, что выручал за продажу фруктов поштучно. Он рассчитывал заработать достаточно, чтобы отправлять деньги семье, но пока не получалось, и считал, что ему все равно повезло — ведь он мог прокормить самого себя. Обычно он спит вместе с остальными нищими под старыми воротами, у выезда из Сатипура.

Туда-то он и вернется, как только кости в ноге и ребрах срастутся. К сожалению, это дело не быстрое. Больше всего его донимает невозможность вставать и передвигаться; его нога прикреплена к какой-то штуке, и, что касается отправления естественных потребностей, он полностью зависит от больничных нянек. Время от времени они приходят и подсовывают под него судно, но поскольку даже полагающуюся им крошечную мзду платить он не в состоянии, они не слишком пунктуальны, когда приходит время приносить или уносить это приспособление. Однажды я обнаружила нищего в состоянии сильного раздражения, так как судно не убирали несколько часов. Я вытащила его из-под больного и понесла выливать в уборную. Поверить в то, в каком состоянии были эти туалеты, можно, только увидев их собственными глазами. Когда я вышла оттуда, мне стало дурно. Я попыталась не показывать этого, дабы никого не обидеть, но, похоже, было уже поздно. Все глядели на меня, словно я ужасно осквернила себя, и даже сам продавец фруктов отвернулся, а когда я, как обычно, предложила ему кое-что из принесенной мной еды, он отказался.

Чид ничего вокруг не замечает и даже старается всех оттолкнуть от себя. Когда бы я ни

навещала его, он лежит, крепко сомкнув веки, из глаз у него иногда текут слезы. Я уже отправила его семье письмо с просьбой прислать денег на билет домой, и теперь мы оба ждем, когда деньги пришлют и когда здоровье Чида улучшится настолько, что он сможет уехать. А пока он не хочет ничего ни знать, ни видеть, а просто лежит и ждет.

Мне до сих пор неизвестно, что именно с ним произошло и так его изменило. Все, что он изредка говорит — и это единственное объяснение его изменившихся чувств по отношению к Индии, — «терпеть не могу этот запах». Я даже не знаю, что с ним не так и чем он болен физически. Я спрашивала доктора Гопала, но и тот толком не мог мне объяснить. У Чида плохо с печенью, и еще что-то с почками, да и вообще его внутренности в ужасном состоянии. Все это от плохого питания и неправильного образа жизни.

— Понимаете, — попытался объяснить доктор (как он ни занят, он всегда рад поупражняться в английском), — наш климат вам не подходит. Да что там, нам тоже. — Он рассказал, что не только люди с Запада, но и индусы страдают амебной дизентерией. Обычно они сами этого не знают, так как часто больны еще невесть чем. Перечис-

ляя все хвори Индии, он стал красноречив. Это и правда был длинный и жуткий список, а когда доктор подошел к концу (если таковой имелся), то заключил: — Господь никогда не собирался населять это место людьми.

Тут я с ним не согласилась, и мы обсудили это по-английски. Он уже говорил мне, что в годы учебы состоял в студенческом дискуссионном клубе и отличился во многих межуниверситетских диспутах. Он и в самом деле искусно умел приправлять свое суждение острым словцом и вот как закончил наши дебаты:

— Предположим, что нам, индусам, здоровье позволяет здесь жить. А где же еще? — спросил он, делая паузу, чтобы я могла оценить его юмор. — Но больше никому, — сказал он, — никому из вас. Вы знаете, что в старые недобрые времена у вас тут были клубы только для британцев? Ну вот, это то же самое — у нас свои особенные микробы, и они предназначены только для нас. Только для индусов! Не подходить! — Он откинулся в кресле, чтобы посмеяться, и, продолжая смеяться, повернулся, чтобы воткнуть шприц в чью-то с готовностью подставленную тощую руку.

Конечно, я должна была признать, что в какой-то степени он был прав — во всяком случае, по

отношению к Чиду. Нет сомнений, что организм Чида не приспособлен для жизни индусского аскета. И он совершенно разбит не только физически, но и духовно. Относится ли этот врачебный вердикт к европейской душе, а не только к телу? Соглашаться я не хочу — не хочу, чтобы это оказалось правдой. В прошлом было много людей, находившихся здесь по собственной воле. После восстания какой-то англичанин продолжал жить один за воротами Лакхнау ради покаяния. А еще какой-то годами бродил по базарам в Мултане, одетый, как афганский торговец лошадьми (никто так и не узнал, кто он был такой и откуда родом, а в конце концов его убили). А та женщина-миссионер, с которой я познакомилась в свою первую ночь в Бомбее? Она говорила, что живет в Индии уже тридцать лет и готова умереть здесь, если ей это назначено судьбой. Да, а как же Оливия? Абсурдно помещать ее в тот же список, что и ищущих духовного просветления, авантюристов и христианских миссионеров, однако, как и они, Оливия осталась тут.

Я до сих пор не уверена, что в ней было что-то особенное. То есть поначалу в ней не было ничего особенного. Когда она впервые попала сюда, то, скорее всего, была именно такой, как казалась:

хорошенькая молодая женщина, тщеславная, жаждущая удовольствий, немного капризная. А затем, совершив то, что она совершила, да еще и живя с этим всю дальнейшую жизнь, она не могла остаться прежней. Никаких записей о том, что стало с ней потом, нет ни у нашей семьи, ни у кого-либо другого, насколько мне известно. Хочется узнать еще и еще, но, полагаю, единственный доступный мне способ — тот же, к которому прибегла она: остаться.

1923

Пейзаж, покрытый пылью несколькими неделями раньше, теперь весь в тумане от влаги. Вид из окна Гарри был окутан облаками, и казалось, что все было видно сквозь непролитые слезы. В воздухе, в тон настроению Гарри, стояла печаль.

Он сказал Оливии:

— Вчера у меня был с ним долгий разговор. Я говорил ему, что хочу уехать домой, что я *должен*… И он соглашался. Он понял. Он сказал, что отдаст все необходимые распоряжения, что я поеду первым классом, что все должно быть по высшему разряду.

Оливия улыбнулась:

— Я прямо слышу, как он это говорит.

— Да, — Гарри тоже грустно улыбнулся. — А еще он мне признание сделал.

— И это могу себе представить.

— Конечно. Оно, понятно, всегда одинаковое, но, Оливия, всегда искреннее! Вам так не кажется? Когда он распахивает сердце, то делает это только потому, что действительно любит… Он и о вас говорил. Прошу, не думайте, что я чем-то недоволен. Боже мой, что же я тогда буду за человек, что за друг? Совершенно буду его не достоин.

— Где он? — спросила Оливия.

— В Индоре. Вчера ему прислали вести из Симлы, ему угрожают расследованием, вот он и сидел всю ночь, составляя телеграммы, а сегодня утром уехал в Индор — проконсультироваться со своими адвокатами.

— Это правда, Гарри? Он в самом деле замешан в чем-то?

— Бог его знает. Насколько мне известно, он всегда прав, а они — нет. Ненавижу их. Именно такие люди, сколько себя помню, не давали мне жить и в школе и вообще. Если бы они только меня изводили, еще бы куда ни шло, но когда *его*, и *здесь* — нет, это невыносимо. Он и не собирается терпеть. Они его еще узнают. Слышали бы вы его вчера вечером: «Погодите, вот родится мой сын,

и им будет не до смеху».

— Он так и сказал?

Она отвернулась от окна и взглянула на него так, что Гарри сразу понял, что сказал лишнее.

— А что он еще сказал? — спросила она. — Говорите, я должна знать.

— Ну, часто он говорит то, чего не думает. Когда он в таком же возбуждении… — Оливия продолжала смотреть на него, и Гарри пришлось продолжить: — Он сказал, что, когда родится его ребенок, Дуглас и все остальные будут потрясены до глубины души.

— Он имел в виду цвет кожи? — Затем она прибавила: — Как он может быть уверен? — Она посмотрела на Гарри: — Вы тоже так думаете, верно… Вы думаете, он… Что сила природы…

— А вы так не думаете?

Оливия снова повернулась к окну и выставила руку: проверить, не пошел ли дождь. Дождь шел, но так мягко, что его не было ни видно, ни слышно, и все — павильоны в саду, жемчужно-серые стены, мечеть — растворялось само собой, как сахар в воде.

— Я подумываю об аборте, — сказала Оливия.

— Да вы с ума сошли!

— Дуглас так счастлив. Строит всякие планы. У

них в семье есть крестильное платье — какие-то монашенки в Гоа сшили. Сейчас оно у его сестры, ее младшего крестили в нем пару лет назад в Кветте, где их поселили. А теперь Дуглас хочет послать за ним. Говорит, что оно чудо как хорошо. Прямо каскады белых кружев, и очень идет детям Риверсов — у них светлая кожа. Дуглас говорит, у них у всех светлые волосы до двенадцати лет.

— У младенцев нет волос.

— У индийских детей есть, я видела. Они рождаются с темными волосами… Гарри, вы должны мне помочь. Вы должны найти мне место… — Когда он застыл, лишившись дара речи, она сказала: — Спросите свою подругу бегум. Ей это нетрудно. — Оливия засмеялась: — Куда проще, чем отравить одежду.

* * *

31 августа. Сегодня, когда я вышла из дому, какая-то женщина, стоявшая у магазина, где продавали шлепанцы, поприветствовала меня, словно старую знакомую. Я ее не помнила, но подумала, что, возможно, это подруга матери Индера Лала, одна из женщин, которые ездили с нами на пикник в День мужниной свадьбы. Когда я пошла через базар, она последовала за

мной. Мне вдруг пришло в голову, что, возможно, она ждала меня, но, когда я остановилась и оглянулась, она не сделала попытки меня догнать. Просто кивала и улыбалась. Так повторялось несколько раз. Она даже показала жестами, чтобы я продолжала идти; казалось, ей больше ничего не было нужно, кроме того чтобы сопровождать меня. Я собиралась идти пешком до самой больницы, но от этого преследования мне стало как-то не по себе, и, дойдя до королевских усыпальниц, я свернула к хижине Маджи. На этот раз та женщина пошла прямо, словно у нее не было до меня никакого дела.

Маджи была в состоянии *самадхи.* Это означает, что она достигла высшего уровня сознания и погрузилась в блаженство. В такие минуты Маджи не имеет ни малейшего представления о том, что происходит вокруг. Она сидит на полу в позе лотоса, глаза у нее открыты, но зрачки закатились под лоб, губы приоткрыты, и между ними виден кончик языка. Дыхание ровное и спокойное, как в крепком сне без сновидений.

Когда она проснулась, хотя это, наверное, не так называется, то улыбнулась, приветствуя меня, словно ничего особенного не происходит. Но, как это обычно бывало, она словно только что вышла

из ванны с живой водой или прибегла к какому-то иному способу омоложения. Щеки у нее светились, глаза сияли. Она провела руками по лицу снизу вверх, словно чувствуя, что оно горит румянцем, и сказала, что если раньше ей очень трудно давался переход из *самадхи* в обычное состояние, то теперь это получается у нее легко, без усилий.

Я поведала ей о загадочной преследовательнице, и Маджи сказала: «Вот видишь, уже началось». Оказалось, что ничего загадочного не было: женщина-повитуха взяла меня на заметку как потенциальную клиентку. Она, наверное, заметила меня раньше и ходила за мной, чтобы удостовериться в своей правоте. То, как я шла и держалась, безошибочно выдавало мое состояние. Через день-другой она, скорее всего, предложит мне свои услуги. И Маджи снова предложила свои:

— Сейчас подходящий срок, — сказала она. — Восемь или девять недель, будет несложно.

— А что ты будешь делать? — спросила я почти из праздного любопытства.

Она объяснила, что существует несколько способов, и в данный момент искусно сделанного обычного массажа будет достаточно.

— Хочешь, я попробую? — предложила она.

Я согласилась, думаю, снова из любопытства. Маджи закрыла дверь в хижину. Дверь была не настоящая, а просто отданный кем-то кусок доски. Я легла на пол, и она ослабила шнур на моих шароварах. «Не бойся», — сказала она. Но я вовсе не боялась. Я лежала, глядя на потолок из куска жести и земляные стены, потемневшие от огня, на котором Маджи готовила еду. Теперь, когда единственный проем был закрыт, стало темно, и самые разнообразные запахи остались внутри — сырости, коровьих лепешек, которыми топили, вареной чечевицы и самой Маджи. Ее единственная смена одежды висела на стене нестираная.

Маджи села на меня сверху. Я не очень ясно различала ее в темноте, но она казалась огромной и напоминала какое-то мифологическое существо — одну из могущественных индийских богинь, что держат жизнь и смерть в руке и играют с ними, как с мячиком на резиночке. Ее руки медленно скользнули вниз по моему чреву, ища и нажимая на определенные места внутри. Было не больно, наоборот, ее прикосновения, казалось, успокаивали. Руки у нее были очень-очень горячие, как всегда; я не раз ощущала их на себе — она всегда прикасается ко мне, словно желая что-то передать. Но сегодня они кажутся

особенно горячими, я подумала, что, может, это остаток *самадхи,* что она все еще носит в себе волны пришедшей откуда-то энергии. И снова я почувствовала, как она передает мне что-то — не забирает, а отдает.

Тем не менее я внезапно крикнула: «Не надо, перестань!» И она тут же убрала руки. Отошла от меня и сняла доску с дверного проема. Свет ворвался в комнату. Я поднялась и вышла наружу, в это свечение. После дождя все сияло зеленью и влагой. Голубые плитки сверкали на королевских усыпальницах, и повсюду в небольших углублениях стояла вода — поймав солнечный свет, они становились похожи на драгоценные камни, рассыпанные по земле. Небо блистало в муссонных разрывах пухлых облаков, а вдалеке виднелись еще облака, но темно-синие, громоздившиеся, как невесомые горы.

— Ничего не будет? — спросила я Маджи тревожно. Она вышла за мной из хижины и больше не была мифическим существом, которым казалась внутри хижины, а стала самой собой, по-матерински замотанной женщиной. Она засмеялась над моим вопросом и ободряюще похлопала меня по щеке. Но я не знала, по какой причине меня ободряли. Больше всего мне

хотелось, чтобы ничего не произошло, чтобы ее попытки не увенчались успехом. Мне стало совершенно ясно, что я хочу ребенка, и еще появилось совершенно новое чувство — упоение, причиной которого была моя беременность.

1923

В Сатипуре тоже были свои трущобы, но в Хатме, кроме них, не было ничего. Городок приткнулся в тени дворца тугим узлом грязных переулков, над которыми нависали обветшавшие дома. Вдоль улиц тянулись сточные канавы, которые частенько переполнялись, особенно в сезон дождей, и, вероятно, были основной причиной (хотя и не единственной) постоянно возникающих эпидемий. Если дожди были слишком сильными, некоторые из старых зданий обрушивались, погребая жильцов под собой. Это происходит регулярно, каждый год.

Случилось это и в доме напротив того, куда привели Оливию, за неделю до ее прихода. Женщины, которые должны были ее пользовать, все еще обсуждали произошедшее. Одна из них описывала, как стояла на балконе, глядя на проезжавшую мимо свадебную процессию. Когда показался жених, все ринулись вперед, чтобы рас-

смотреть, и стоял такой шум, сказала она, музыка так гремела, что она даже не сразу поняла, что происходит, хотя разыгралось все прямо у нее на глазах. Она увидела, как дом напротив, который там всю жизнь стоял, вдруг осел и рассыпался, а в следующий миг все с треском полетело в стороны: люди, кирпичи, плитки, мебель, посуда. Это было как во сне, в кошмарном сне.

То, что происходило с Оливией, тоже напоминало сон, хотя выполняющие порученную им работу женщины, две домашние пожилые повитухи, были деловито спокойны. Служанка, которая привела Оливию, тоже держалась деловито спокойно. Она одела Оливию в паранджу и повела за собой по улицам Хатма. Никто не обращал на них внимания, они были просто двумя женщинами в парандже, обычными ходячими палатками. На улицу с повитухами вели скользкие ступени (тут Оливия, непривычная к длинному одеянию, была особенно осторожна). Дом, где обитали повитухи, находился в полуразрушенном состоянии, непохоже было, что он переживет следующие муссоны, особенно опасными казались ступени. На лестнице было так темно, что спутнице Оливии пришлось взять ее за руку. На мгновение Оливия вздрогнула от

непосредственного контакта, но всего лишь на мгновение — она знала, что ее ждут прикосновения более интимные и к куда более запретным местам.

Повитухи уложили ее на коврик на полу. Так как дома напротив больше не было, Оливии был хорошо виден кусок неба в окне. Она попыталась сосредоточиться на нем, а не на том, что с ней делали. Но никаких неприятных ощущений не было. Очень искусно женщины массировали ей живот, ища и нажимая на определенные вены. Одна женщина находилась сверху, а другая сидела на корточках на полу. Их руки беспрестанно трудились над Оливией, пока продолжался разговор между ними. Атмосфера была профессиональная и спокойная. Но когда на лестнице послышались какие-то звуки, повитухи, глянув друг на друга, замерли в испуге. Одна из них направилась к двери, а другая быстро накрыла Оливию простыней. Словно я умерла, подумала Оливия. Ей было интересно, кто пришел. А еще ей хотелось знать, что теперь будет, что они будут делать, если она и вправду умрет в этой комнате после аборта. Им придется потихоньку и очень быстро избавиться от тела. Оливии пришло в голову, что и эта процедура будет не так уж сложна.

Бегум все уладит с такой же легкостью, с какой организовала и сам аборт. Возможно, она уже и об этом подумала и запланировала все, что нужно.

Как выяснилось, пришла как раз бегум в сопровождении лишь одной служанки. Обе фигуры были укутаны в черную паранджу, но Оливия поняла, которая из них бегум по тому, как с ней обращались присутствующие. Ей, казалось, была очень интересна операция сама по себе (сколько внимания, подумала Оливия, я должна быть польщена). Бегум наблюдала сквозь паранджу за тем, как акушерки продолжали делать массаж. Затем одна из них поднялась и отошла в угол — пора было что-то приготовить. Оливия слегка приподняла голову, но вторая женщина надавила ей на лоб, так что ей удалось лишь бросить взгляд в том направлении. Она увидела, как акушерка показала бегум прут, на который намазывала какую-то пасту. Бегум было так любопытно, что она подняла паранджу, чтобы лучше видеть. Теперь Оливии было интересно наблюдать и за прутом, и за лицом бегум. Она забыла, как та выглядит (визит, который они ей нанесли вместе с миссис Кроуфорд, казалось, был сто лет тому назад), ей хотелось проверить, похож ли на нее Наваб.

Повитуха приблизилась, держа прут в руке.

Оливия догадалась, что его введут внутрь. Женщины раздвинули Оливии ноги, и одна из них держала ее за лодыжки, пока другая прилаживала прут. Бегум тоже наклонилась посмотреть. Хотя акушерка работала быстро и осторожно, прут причинил Оливии боль, и она не смогла сдержать стон. Бегум наклонилась посмотреть ей в лицо, и Оливия взглянула на нее. Она и в самом деле очень походила на Наваба. Казалось, бегум было интересно изучать ее лицо, как и Оливии смотреть на нее. На мгновение они пристально смотрели друг на друга, а потом Оливия закрыла глаза, так как боль — там внизу — повторилась.

* * *

Бет Кроуфорд не позволяла себе говорить об Оливии, пока не прошли долгие годы, целая жизнь. Я не знаю, думала ли она о ней вообще все это время. Вероятно, нет: тетушка Бет твердо знала, где следует ставить границы не только в речах и поведении, но и в мыслях. Точно так же она не позволяла себе задерживаться мыслями на бегум и остальных придворных дамах по окончании ее обязательного тридцатиминутного визита. У нее не было ни малейшего желания раздумывать над тем, что происходило на женской половине двор-

ца после ее ухода — когда уносили европейские стулья и дамы снова поудобнее устраивались на своих диванах. Бет ощущала, что у Востока есть свои секреты и свои загадки, и неважно, чего они касались — дворца ли, базара ли в Сатипуре или переулков Хатма. Все эти темные задворки жизни находились за пределами ее интересов и ее воображения, как и Оливия, коль скоро та перешла границу.

Единственным человеком, не пожелавшим молчать, был доктор Сондерс. Это он раскрыл тайну Оливии. Акушерки в Хатме хорошо справились со своей задачей, и выкидыш у Оливии начался той же ночью. Она разбудила Дугласа, и он отвез ее в больницу, а рано утром доктор Сондерс завершил начатое. Но он прекрасно знал, что такое «индийский аборт» и каким образом его осуществляют. Самым распространенным способом было введение прута, смазанного соком растения, известного только индийским повитухам. В свое время доктор Сондерс изъял массу таких прутов из женщин, которых привозили в больницу с так называемыми самопроизвольными абортами. После он встречался с виновницами лицом к лицу и выгонял их из больницы. Иногда он раздавал пощечины — у него были твердые

взгляды на нравственность и на то, как ее блюсти. Но даже он признавал, что некоторым местным женщинам, появившимся на свет в обстановке невежества и антисанитарии, нужно делать поблажки. Для Оливии таких смягчающих обстоятельств не нашлось. «Ну что, милочка», — сказал он, глядя ей в лицо. Старшая медсестра, шотландка, родившаяся в Индии — вместе с доктором они содержали больницу в строгости и чистоте, — с мрачным видом стояла позади него. Оба были возмущены до глубины души, но доктор Сондерс еще и торжествовал, ибо оказался прав. Он всегда знал, что в Оливии было что-то испорченное: слабость и безнравственность, которую почуял и которой воспользовался Наваб (и сам такой же испорченный).

Никто не сомневался, что Наваб использовал Оливию в целях мести. Даже самый либеральный и сострадательный англо-индус, майор Минниз, тоже был убежден в этом. Как и Кроуфорды, и, очевидно, сам Дуглас (хотя никому не было позволено раздумывать о его чувствах), майор Минниз изгнал Оливию из своих мыслей. Она зашла слишком далеко. И все же долгие годы он размышлял не столько о том, что случилось, сколько о последствиях случившегося. Они толь-

ко подтверждали его теорию. Позже, когда он ушел на пенсию и поселился в Ути, у него образовалось больше времени, чтобы обдумать этот вопрос, он даже опубликовал — на собственные средства — некий труд, не вызвавший большого интереса у читателей: монографию о влиянии Индии на европейские сознание и характер. Он разослал свое сочинение друзьям, и таким образом у тетушки Бет оказался экземпляр, который я прочитала.

Хотя майор, несомненно, сочувствовал Индии, его рукопись звучала как предупреждение. Он писал, что необходимо быть очень стойким, чтобы выдержать Индию. И самые ранимые, говорил он, всегда те, кто любит ее больше всех. Можно по-разному любить Индию и — за многое: за пейзаж, историю, поэзию, музыку, конечно, за физическую красоту мужчин и женщин, но все это опасно для европейца, если он позволяет себе любить ее слишком сильно. Индия всегда находит болезненную точку и нажимает на нее. И доктор Сондерс и майор Минниз говорили о слабой точке. Но если для доктора Сондерса это было что-то, а то и кто-то, отличавшийся безнравственностью, то для майора слабости были подвержены самые чувствительные, и часто

— и самые достойные люди, и особенно — их утонченные чувства. Этих-то людей и находит Индия и утягивает на противоположную сторону, которую майор назвал другим измерением. Он также назвал это другой стихией, в которой европейцу жить непривычно, и поэтому, погрузившись в нее, он подвергается увечью или — как Оливия — гибнет. Да, заключил майор, любить и восхищаться Индией с интеллектуальной или эстетической точки зрения прекрасно (он не сказал — с сексуальной, хотя наверняка мог бы), но делать это следует с позиции европейца — зрелой и взвешенной. Никогда нельзя размякать (подобно индусам) от чрезмерных чувств, ибо стоит такому случиться, стоит превысить меру, как тут же возникает опасность, что тебя утянут на другую сторону. Таковы были заключительные слова майора — в них и состоял его вывод. Майора, который так любил Индию, так хорошо знал ее, который даже решил провести здесь остаток дней! Но Индия всегда оставалась для него противником, иногда даже врагом, которого нужно остерегаться и с которым, при необходимости, нужно бороться и вовне, и изнутри — чтобы преодолеть собственное я.

Оливия не вернулась к Дугласу, а, убежав из

больницы, отправилась прямо во дворец. В последний раз ее еще не затуманенный образ встает не из писем, а со слов Гарри. Он был во дворце, когда она приехала. Такая бледная, сказал он, ни кровинки. (Еще бы, ведь она потеряла много крови из-за аборта.) Сатипур находится недалеко от Хатма — около пятнадцати миль, и Оливия ежедневно проделывала это путешествие на машинах Наваба. Но тогда, когда она сбежала из больницы, машины не было. Гарри так и не выяснил, каким образом она добралась до дворца, но полагал, что на каком-то здешнем виде транспорта. Она была в одежде местных жителей — грубом сари, какие носят служанки, — и напомнила Гарри однажды виденную им гравюру: «Побег миссис Секом от мятежников». Миссис Секом тоже была в местном одеянии, растерянная, с растрепанными волосами и перепачканным грязью лицом — и ничего удивительного, ведь она спасалась бегством от бунтовщиков Сикрора: спешила укрыться в британской резиденции в Лакхнау. Оливия тоже спасалась бегством, но, как пояснил Гарри, бежала в противоположном направлении.

Гарри уехал вскоре после этого. Он так и не понял, почему Наваб взял к себе Оливию. В любом

случае, эта загадка — как и сам Наваб — выпали из поля зрения Гарри на многие годы. Чему он был рад. Если он и вспоминал время, проведенное во дворце, то всегда с неприязнью и даже с отвращением. И, тем не менее, он был очень-очень счастлив там. Потом, в Англии, ему казалось, что счастье это было для него чрезмерно. Теперь единственное, чего ему хотелось, — это тихо жить с матерью в квартирке в Кенсингтоне. Позже, после смерти матери, у него поселился его друг Ферди — бросил работу в прачечной, чтобы ухаживать за Гарри. Ферди познакомился и с Навабом, но лишь спустя многие годы; к тому времени Наваб, по мнению Гарри, сильно изменился. Обстоятельства его тоже изменились, и теперь, приехав в Лондон, он не останавливался в «Клариджe», так как был довольно сильно стеснен в средствах. Возможно, поэтому он не взял с собой Оливию — не мог себе этого позволить, или же она и сама не захотела ехать. Она больше никогда не приезжала в Англию, а жила в доме в горах, который Наваб купил для нее.

Когда я сказала Маджи, что уезжаю из Сатипура, она спросила:

— Вместе с Чидом? — Отъезд Чида в Англию ее позабавил, как и все с ним связанное. — Бед-

ный мальчик, — сказала она, — пришлось ему бежать. — Ее широкие плечи тряслись от смеха.

Я уверила ее, что вовсе не убегаю, а, наоборот, двигаюсь дальше — в горы. Ей это понравилось. Тогда я набралась смелости и спросила — а я уже давно собиралась, — что именно она делала со мной в тот день, день несостоявшегося аборта. К моему облегчению, ничего не произошло, но мне казалось, захоти она, ее попытки увенчались бы успехом. Что она сделала? — спросила я. Она, конечно, так ничего мне и не сказала, но ее лукавый смех означал, что и она не без греха. Я вспомнила, как она сидела там — сверхъестественное существо, обладающее сверхъестественными силами, которые, как мне теперь казалось, она использовала не для того, чтобы прервать мою беременность, а чтобы я до конца ее прочувствовала.

Сезон дождей — не лучшее время для подъема в горы. То и дело бывают оползни, и дороги надолго остаются непроходимыми. Гор не видно. То есть все знают, что они там: цепи Гималаев, простирающиеся бог знает как далеко и высоко, — их присутствие даже можно ощутить или вообразить, но не увидеть. Они полностью скрыты облаками и парами, туманами.

Прямо над городком X. по самому крутому склону горы разбросана пригоршня домиков. Даже в лучшие времена до них трудно добраться — если, конечно, речь не идет о самых выносливых альпинистах, — а теперь, во время дождей, горы совершенно неприступны. Мне говорили, что до недавнего времени, кроме Оливии, там жили и другие европейцы. Норвежка — вдова индусского историка, посвятившая себя разбору его архива; немец, принявший буддизм, и двое бывших миссионеров, которые попытались основать христианский «ашрам». Теперь они умерли и похоронены на старом британском кладбище, на плоской возвышенности несколькими сотнями футов ниже. (Повсюду британские кладбища! Вот что оказалось самыми надежными памятниками.) Лишь немца кремировали в индусском крематории да Оливию. Бывшие миссионеры попытались воспрепятствовать ее кремации, говорили, что ей место на кладбище, раз она не приняла индуизма в какой-либо из форм. Но она просила именно о кремации, поэтому ее и кремировали. Полагаю, что прах ее развеяли в этих горах, так как не было никого, кто мог бы распорядиться иначе: Наваб умер раньше ее.

Ее дом и сейчас там. Мне пришлось выждать

несколько дней, пока не прекратился дождь и я смогла подняться наверх. Домик стоит себе на краю горы; наверное, из него открывается восхитительный вид, хотя в это время года оттуда ничего, кроме облаков, не видно. Существуют разногласия по поводу того, кому он достался по наследству. Карим и Китти пытаются это разрешить, как и другие спорные вопросы, касающиеся остальной собственности Наваба. И надеются сделать это раньше, чем дом реквизирует армия. Внутри здания появились опасные с виду трещины, и все покрылось плесенью.

Однако дом сохранил то, что, как мне кажется, было атмосферой Оливии. Конечно, там стоит пианино — не то, что у нее было в Сатипуре, а рояль, который Наваб прислал из Хатма (вместе с настройщиком из Бомбея). Занавески и подушки, порядком вытертые, но все еще желтые, как в Сатипуре, абажуры с бахромой, граммофон. В оконном проеме стоят стул и пяльцы: не знаю, декоративные ли они, или она и правда здесь сидела, то и дело поднимая глаза от вышивки, чтобы посмотреть на горы (теперь невидимые). Снаружи есть конюшни, но все, что в них когда-либо держали, это паланкин. Он до сих пор там, сломанный и покрытый пылью: в нем Наваба но-

сили вверх и вниз с горы. Он слишком растолстел и разленился, чтобы карабкаться самому. Гарри говорил, что был потрясен, увидев его снова в Лондоне. Прошло пятнадцать лет, Навабу исполнилось пятьдесят, и он стал таким толстым, что в нем появилось что-то женственное. И обнял он Гарри как-то по-женски: прижал к пухлой груди и долго держал. Все забытые чувства тотчас вернулись к Гарри. Но потом оказалось, что его чувства к Навабу все-таки изменились, возможно, потому, что сильно изменился и сам Наваб. Он казался мягче и спокойнее, и у него было множество неприятностей на родине.

Судебную тяжбу, затеянную в 1923 году, он проиграл, в результате чего новый премьер-министр взял дела в Хатме в свои руки. Хотя на бумаге Наваб по-прежнему правил Хатмом, оставаться там при подобных обстоятельствах ему не захотелось. Бегум тоже нечасто бывала в резиденции, и вместе со своими придворными дамами заняла дом в Бомбее. Наваб часто останавливался там, когда не был с Оливией в Х. Иногда он жил со своей женой Сэнди, ибо с Кабобпурами все было более-менее улажено. Сэнди же была нездорова, и в настоящее время лечила свои душевные недуги в Швейцарии.

Дела Наваба были расстроены, в основном в финансовом отношении. Ему приходилось содержать не только дворец и три других владения — жены, матери и Оливии, — но и в Хатме у него хватало забот. Нужно было обеспечивать всех тех молодых людей — уже, конечно, не молодых, — которые входили в его дворцовую свиту и которые, если и не приходились ему кровными родственниками, были потомками домочадцев, чьи предки служили еще Аманулле Хану. Наваб глубоко стыдился того, что не может создать им условия, к которым они привыкли. Годами торговался он с британскими властями, настаивая на увеличении суммы, которую ему выделили из доходов штата, но никак не мог добиться от них понимания: они знать не знали, каковы были обязательства у правителей его ранга. Поэтому он и приехал в Лондон — апеллировать к высшей власти. Он назначил, или попытался назначить, множество встреч и без конца вытаскивал из кармана какие-то бумажки с нацарапанными на них телефонными номерами и фамилиями, хотя частенько не мог припомнить, кому они принадлежат.

Бóльшую часть времени он проводил с Гарри и Ферди. Что им давалось нелегко. Жили они

очень упорядоченно, в отличие от Наваба. Да и физически он казался слишком крупным для их квартирки, и даже сломал два стула в столовой, просто посидев на них. Кормить его тоже было непросто. Еда, которую Ферди готовил для нежного желудка Гарри (чье пищеварение так и не восстановилось после Индии), Наваба не насыщала. Он стал сладкоежкой и, не имея возможности лакомиться индийскими сластями в Лондоне, приобрел привычку поглощать огромное количество булочек со сливками Всю вторую половину дня он обычно просиживал в модном ресторане, выстроенном в индийском стиле с мраморными колоннами, наподобие дворца в Хатме. Трижды за вечер дама в длинном нарядном платье играла несколько вещей на разноцветном органе, и, с удовольствием ее слушая, Наваб поворачивался к Гарри: «Как чудесно она играет, совсем как Оливия». Он никогда не был особенно музыкален.

Как и его отец, Наваб в последние годы пристрастился к чтению персидской поэзии и двустиший на урду, особенно тех, что описывали быстротечность мирских утех — чему, по его мнению, он, как никто, мог служить подтверждением. Помимо увеличения суммы на содержание, его самой неотложной задачей были розыски пропавших

казенных драгоценностей. Власти Хатма обвиняли бегум в их присвоении, на что она с жаром отвечала, что взяла лишь то, что было ее собственностью. Делу этому была уготована долгая тяжба, ибо после получения Индией независимости оно перешло в ведение правительства, которое попыталось начать дело против бегум. К тому времени и она сама, и драгоценности пребывали в безопасности в Нью-Йорке.

Наваб приходил в сильное волнение, когда говорил о нападках, которым подвергалась его мать. У него было повышенное давление, и, когда он особенно выходил из себя, Гарри старался его успокоить. «Вы умрете от удара», — предупреждал он Наваба. (Так оно и случилось, только пятнадцать лет спустя в апартаментах на Парк-авеню в Нью-Йорке, на руках у уже совсем древней бегум.) Когда Гарри так говорил, Наваб всегда смеялся: сама мысль о смерти его смешила. Он любил рассказывать историю, которая произошла в Хатме примерно через год после отъезда Гарри. Банду разбойников, с которыми, по всеобщему мнению, Наваб водил дружбу, захватила полиция (к тому времени — реформированная). Иных из бандитов убили при столкновении, других поймали и предали суду. Они были приговорены к смертной

казни за многочисленные убийства и долгие годы разбоя. Наваб не раз навещал их в тюрьме, и до самого конца они выказывали смирение и бодрость духа. Он провел с ними и последнюю ночь — наблюдал, как они едят свой последний ужин, играют в свою последнюю карточную игру и укладываются спать. Они и в самом деле спали, а он не мог. Он сопровождал их к месту казни и напоследок помолился с ними. В последнюю минуту один из них — Тикку Рам, из очень высокой касты — внезапно повернулся к палачу и начал расспрашивать: «А вы?..» — но не мог договорить, ибо тот надел мешок ему на голову. Недостающее слово было, вероятно, «хамар» — приговоренный беспокоился о касте палача, который производил над ним эту последнюю и столь интимную операцию. Только это его и волновало в момент ухода. Наваб похвалил такое отношение к смерти и сказал, что надеется последовать примеру Рама, когда придет его черед.

В эти последние годы об Оливии не было слышно ни звука. Наваб мало говорил о ней, это стало такой же личной темой, как и бегум. Он никогда не упоминал о ней и о том, как ей живется там, в Х. Возможно, он никогда об этом не думал, полагая, что ей было хорошо и удобно среди всего

того, что он постарался ей предоставить. Сама Оливия тоже не давала о себе знать. Она все еще писала Марсии, но, в отличие от писем из Сатипура, письма из Х. были короткими и ничего не проясняющими. Писала она к тому же очень редко, сначала два-три раза в год, а потом и того реже. Оливия перестала писать после смерти Наваба, она пережила его на шесть лет.

Марсия говорила Гарри, что они с Оливией были очень похожи. Он подумал, что в юности, наверное, так оно и было: Марсия тоже была хрупкой и миниатюрной, но темноволосой, а Оливия — блондинкой; однако к тому времени, когда Гарри с Марсией познакомились ближе, он уже не мог соотнести ее образ с воспоминаниями об Оливии. Марсия много пила, курила и визгливо смеялась. Отличалась разговорчивостью и нервозностью и дважды чуть не умерла от передозировки снотворного. Марсия утверждала, что больше всего они походили друг на друга темпераментом — очень страстным, говорила она. Она заявила, что прекрасно понимала Оливию. Вкусы, конечно, у них были разные, к примеру, Марсия никогда не могла уразуметь, что Оливия нашла в Дугласе, ибо, по мнению Марсии, он был просто сухарь, и ее совершенно не удивило, что

он Оливии наскучил и она ушла к более интересному человеку. Годы спустя, когда Марсия познакомилась с Навабом в Лондоне, она сказала, что он и в самом деле интереснее, чем Дуглас, но опять же — не в ее вкусе. Разница во вкусах никак не умаляла сходства их темпераментов и характеров, которые были всегда готовы следовать за темпераментом, куда бы он их ни завел. Когда Гарри спросил Наваба, похожа ли Оливия на Марсию, тот, ни секунды не колеблясь, воскликнул: «О нет, ни в коем случае!». Эта мысль, казалось, поразила его как абсурдная и ужасающая одновременно.

Что она была за человек? Как она жила? Когда я осматривала ее дом над городком Х., мне пришло в голову, что ее жизнь здесь мало чем отличалась от той, которую она вела в Сатипуре или могла бы вести в Лондоне. Комнаты были обставлены в ее вкусе, она играла на пианино те же пьесы. Вот и все, что мне удалось узнать в том месте, которое когда-то служило ей домом. И ничего более. Я до сих пор представить себе не могу, что она думала тогда, чем стала. К сожалению, все то время, что я провела там, шел сильный дождь, и мне было не разглядеть, что она видела из окна, сидя за своим вышиванием. Возможно, узнай я это, что-нибудь

изменилось бы.

Я сняла комнату в Х. и живу так же, как в Сатипуре. Городок точно такой же: обветшалые домики, путаница узких переулков; только располагается он на склоне и, кажется, будто вот-вот соскользнет вниз с горы. Некоторые его участки и в самом деле иногда сползают вниз, особенно теперь, в сезон дождей, да и сами горы крошатся: их с шумом низвергающимися обломками загромождены раскисшие дороги. Я с нетерпением жду окончания дождей, потому что хочу подняться выше. Я часто смотрю вверх, но еще ничего не видно. Не видя, я представляю себе самые высокие горы на свете, с самым белым снегом, таким белым, что он сияет на фоне самого синего неба, которое мне никогда прежде не доводилось видеть. Вот чего я ожидаю. Возможно, это будет именно то, что видела Оливия: тот же вид или видение, что все годы наполняли ее глаза и душу.

Я редко смотрю вниз. Иногда после дождей туман клубится в долине, и воздух так пропитывается влагой, что птицы будто плывут в нем, а деревья качаются, словно водоросли. Думаю, я еще не скоро спущусь вниз. Сначала, конечно, у меня появится ребенок. Потом я переберусь повыше — в ашрам, говорят, там смогут меня при-

нять. Я видела их свами, когда те спускаются на базар за покупками. В городе их очень уважают за праведную жизнь. Они без остатка посвятили себя изучению философии тех самых древних писаний, что были рождены на вершинах этих гор, которых мне никак не увидеть. Свами — жизнерадостного вида мужчины, они громогласно смеются и шутят с людьми на базаре. Говорят, что любой нуждающийся, если он чист сердцем, может подняться в ашрам и ему позволят остаться настолько, насколько он пожелает. Большинство, правда, вскоре спускаются обратно — не выдерживают холода и аскетических условий существования.

В следующий раз, когда я увижу свами, я поговорю с ним и попрошу разрешения подняться в ашрам. Я пока не знаю, надолго ли там останусь. На какое-то время — безусловно, так как в моем положении спускаться еще труднее, чем подыматься, даже если бы я того и захотела.